

# ДИАБЕТ

Румер-Зараев М.

Диабет и другие повести. —

М., «Вест-Консалтинг», 2016. — 332 с.

## НАС ТРОЕ

Когда я перевозил его вещи из Ганновера в Берлин, он попросил из книг взять только «Войну и мир» и «Анну Каренину».

— Может, всего Толстого? — спросил я.

— Нет, только это.

По субботам он лежит в изнеможении после недели (уходит в полдевятого, возвращается в одиннадцать, и, видно, солоно ему там приходится — в лаборатории, с плохим немецким, после долгой отвычки от работы, и к тому же они здесь оказались рукастые, делают все четко и быстро), дремлет и читает Толстого. Видимо, толстовская гармония (кто это сказал: Толстой — гармония, Достоевский — дисгармония?) успокаивает его тревоги и воспаленные мысли.

Иногда в будние дни я замечаю, как перед уходом на работу он несколько минут читает Библию. Я не спрашиваю о том, почему Библию, почему за несколько минут перед уходом. Мы не говорим о книгах, которые читаем. Мы вообще мало говорим.

Когда ему было лет десять-двенадцать, я поставил в его комнату Библию, Пастернака, «Фауста» Гете... Он ничего не сказал, но какое-то время спустя я понял, что он их читает.

Как долго тянулась эта дорога в Германию. И когда она началась?

Лет двадцать назад я ехал в автобусе по Подмосковию. А может, это и не Подмосковье было, а какая-нибудь другая область центра России — Псковская или Ярославская. Как мы тогда говорили — Псковщина, Ярославщина. Но вспомнить, какая это была область, не могу, потому что все они слились в моей

ISBN 978-5-91865-361-6

памяти в одну нескончаемую дорогу с видами полей, которые я так охотно описывал в своих очерках — желтые пятна жнивья, черные — пара, зелень всходов.

Все это было заемное, как и весь этот жанр добротного русского литературного очерка, идущего от народничества, от Глеба Успенского, — со скрупулезными подсчетами урожая и надоев, с портретами мужиков и колхозных председателей. Все это было заемное, но я этим жил, и во мне оно жило запахами, лицами, словечками. Оно было одновременно и чужое, и мое. Так вот, ехал я на автобусе по шоссе, разрезавшем эти самые зеленые сходы и черные пятна пара. Автобус был не какой-нибудь дребезжащий зилок (и это ласковое уменьшение тоже из тех времен — зилок), а новый «Икарус» с покойными самолетными креслами, с огромными, на удивление чисто промытыми окнами. И шоссе было укатанное, без выбоин, от которых я обычно весь сжимался, когда сидел за рулем своих «Жигулей». Я прямо-таки плыл, сидя у окна в весеннем свете. (Как трудно удержаться от эпитетов — какой был свет, какое солнце, небо. Как трудно удержаться от живописания.)

Я плыл и плыл в весеннем свете, пока не почувствовал некий внутренний толчок слева, где рядом сидела женщина. Я почти и не запомнил ее, когда мы садились, — обычная деревенская женщина, правда, без плюшевки и платка, не старая, современно одетая. Лицо худое, не запоминающееся. Я скосил глаза. По ее лицу текли слезы. Она не рыдала, не вздрагивала. Просто думала о своем и по лицу текли слезы. Что мучило ее? Смерть ребенка, измена мужа, собственная болезнь? Что было источником этого тихого страдания, страдания в чистом виде, эманации страдания? Его нельзя было нарушить. Мы оба плыли в свете весеннего дня каждый со своим страданием.

Будильник звенит в семь. Я встаю на полчаса раньше, чтобы приготовить завтрак. Утром, да когда еще не выспишься, движения не точны, разбалансированы — то опрокинешь соль, то заденешь рукавом халата чашку весов. Но порядок действий отработан. Отмерить стаканчиком в кастрюлю воды, взвесить мюсли — должно быть ровно пятьдесят граммов, засыпать кру-

пу в кипящую воду. Взвесить заранее сваренное мясо. Сто граммов — на обед, столько же — на ужин. Он и ужинает в лаборатории где-то часов в семь. Обе порции кладутся в круглую миску, между ними — выемка, в которую надо положить нарезанные овощи — помидоры, красный сладкий перец, салат, огурец. Как хорошо-то, что все это есть и покупается без всяких хлопот — говяжья вырезка в турецком магазине, где сухощавый мужественный турок на твоих глазах, ловко играючи острейшим ножом, обрежет остатки пленки, хрящи и выдаст кусок сочной красной мякоти. А по соседству в «Лидле» или «Пенни» пройдешься вдоль витрин с тележкой, наполняя ее вымытыми яркими овощами. Впрочем, и в Москве почти все это было, когда мы уезжали, примерно по таким же ценам. Но сколько там надрыва, воспоминаний, страстей вокруг этой покупки-продажи.

В конце восьмидесятых приехал от кого-то американец, уже не раз бывавший в России, так что можно бы и не мучиться с застольем. Но уж так были пусты полки магазинов, такое талонное безумие царило вокруг, что, поставив на стол кусок сыра, мы удовлетворенно вздохнули: «Сыр достали». И, уловив в глазах американца тоску и словно бы некую вину, я подумал, что не надо было этого говорить. Мы как бы упивались ужасами нашей истории, противоестественностью быта и бытия. Это было классическое российское духовное гарцевание.

Каша готова. Выложить ее на тарелку, накрыть другой, чтобы не остывала, пока он будет мыться. Творог, хлеб, масло, чашка чая из шиповника и ромашки накрыта блюдцем, тоже чтобы не остыла. Завтрак на столе. Пакет с мясом, овощами и хлебом увязан и засунут к нему в сумку. Пожалуй, все.

Все по технологии. Взвешено, измерено, исчислено. Он не ест, а вводит в организм определенное количество белков, жиров и углеводов. Вот щебетнул глюкометр, выдав утреннее содержание сахара в крови. Сидя за письменным столом, он задумчиво пошевелил губами, просчитав дозу инсулина. Укол. Можно завтракать.

Пока он завтракает, медленно и равнодушно двигая челюстями, поднимаю жалюзи окна. Что там на улице, дождит ли,

можно ли бегать? За окном — ряд домов, грязно-розовых, грязно-зеленых, серых. Бетон, панели.

Но не такие, как у нас, какая-то все-таки отделка западная и острроверхие черепичные крыши с мансардными окнами. Западный Берлин.

«И тайная струя страдания согреет горечь бытия». Кошунтвенна эта пастернаковская романтизация страдания.

В тот год я, перейдя из городской в центральную аграрную газету, как никогда много и жадно ездил. Я полностью сменил профессиональную специализацию — от экономики промышленности к сельскому быту. Похоже, что я упивался этой глебоуспенской народнической культурой, по уши влез в нее, забирался в заброшенные стариковские деревни, днями просиживал там, записывая трудно расшифровываемые рассказы старух, заводил газетные дискуссии, скажем, о способах сбора молока в личных хозяйствах — чтобы не обсчитывали, правильно определяли жирность. Или о необходимости создания специальных сельских домов для престарелых.

Кое-кто из моих сверстников уже отрясал с ног российский прах, продираясь сквозь муки и препоны в Штаты, в Израиль, а я все глубже уходил в эту действительность, на самое ее дно, к обиженным косноязычным простецам, любуясь и ими, и собой.

Мой старый приятель, идучи за неделю перед отъездом по московской улице, остановился перед газетным стендом с моей статьей. Статья начиналась так: «В глубочайшей полевой тишине сажу в деревне Николаевке, укутанной одеялом снегов...» Кажется, то были бунинские реминисценции — «в глубочайшей полевой тишине». Но не это поразило его, а моя добровольная оторванность от мира. «Бедняга, — сказал он своему спутнику. — Куда его занесло... Господи, деревня Николаевка... Зачем ездить, ведь всюду как в Москве, только хуже».

Мы встретились двадцать лет спустя в Нью-Йорке, где он прожил эти годы, работая на радиостанции «Свобода» и купив

несколько медальонов — так там называется документ на право владения такси. Он принимал меня в своей квартире в престижном Квинсе и давал советы, как лучше разбогатеть. Скажем, написать книжку на эксклюзивную тему, вот как его сосед, который пишет толстые и хорошо раскупаемые биографии советских вождей. Я кивал, соглашался. Разбогатеть хотелось.

Но в те годы ни он, ни я не думали о том, как разбогатеть. Он думал о том, как выбраться из России, я — о том, как обрести себя, погружаясь в ее глубины.

Вернувшись как-то из командировки, я застал жену в растерянности. Сына положили в больницу. Диабет. Ни она, ни я тогда не понимали смысла и масштабов случившегося. Диабет — это было что-то старческое и не вполне понятное. Объяснения врачей многого не проясняли.

— Поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин — гормон, необходимый организму для переработки сахара. Нужно не есть сладкого, соблюдать диету и с помощью уколов вводить в организм этот самый инсулин.

— Как долго вводить?

— А всю оставшуюся жизнь.

Это не доходило.

— Что же, ему сейчас двенадцать, и колоться до конца дней?

— Да, до конца дней. И скажите спасибо, что придуман искусственный инсулин.

— А когда его не было?

— Больной умирал при той форме заболевания, которая у вашего мальчика.

— Умирал?

— Да, умирал.

— Но отчего это возникает?

— Не знаем, тут много ответов, есть наследственная теория.

— Никто из предков не болел.

— Ну, есть вирусная теория. Есть травматическая. Причин по-настоящему никто не знает. Если бы знали, лечили.

— А сейчас не лечат?

— Практически нет. Поддерживают существование.

Он был веселый, добродушный мальш. Представляя себе его взрослым, я видел неглупого контактного человека из тех, кто не дурак выпить, попариться в баньке, закатиться куда-нибудь с компанией. Когда он сопел пятилетним в постели, наигравшись за день во дворе, насидевшись у телевизора, налакомившись конфетами, щедро выдаваемыми дедом и бабкой, я живописал жене, как она ждет его двадцатилетнего поздним вечером. Нетвердые шаги по лестнице. Неуверенное тыканье ключом в замочную скважину. Алкогольное дыхание в прихожей.

— Замолчи! — кричала она. — Этого не будет.

— Почему не будет? Это у всех. Это жизнь.

Она, действительно, ждала его каждую ночь. Но все было по-другому. Он не только в Берлине, но и в Москве работал до одиннадцати-двенадцати. Правда, там он уходил утром в десять-одиннадцать.

Там он был сам себе хозяин, старший научный, кандидат, он вел свою тему, оформлял результаты в виде статьи, куда брал в соавторы начальника, и ощущал себя самодостаточной творческой личностью. Здесь он был винтиком, все придумывал профессор, выдавал задание, а сотрудники как бы на конвейере. Но возвращался он поздно и там. Почему так получалось? То ли оттого, что полдня уходило на болтовню, чаепития, поиски материалов, торговлю с рабочими (за сто граммов спирта тебе что-нибудь чинили или паяли. «Наши бы в обморок упали, увидев, как здесь спиртом только что не пол моют. Когда я сказал, что в России это нечто вроде валюты, его пьют, они с вежливой усмешкой пожали плечами, мол, дикари, что тут сделаешь»).

А может, сказывались условия эксперимента: посеял культуру бактерий, у них определенный жизненный цикл, надо дождаться, когда он закончится.

Он меня никогда не удостаивал рассказами о своей работе. О моей иногда спрашивал. Я подробно, с тайным педагогическим умыслом отвечал, рассчитывая на ответную разговорчивость. На мои же вопросы он обычно хмуро ронял: «Ты этого не поймешь». Возможно, что здесь сказывалось презрение чело-

века точного знания (а он культивировал в себе точное знание, постоянно занимался, казалось бы, не очень нужными в его молекулярной биологии математикой и физикой) к гуманитарной интеллектуальной распушенности, приблизительности представлений и понятий.

Я пытался читать его статьи в научных журналах, но дальше первого вступительного абзаца дело не шло — сплошные термины и формулы. Он мои статьи тоже иногда читал, но без всякой реакции — прочтет, отложит, и ни слова. Когда жена заводила со мной спор по поводу какой-нибудь газетной или журнальной дискуссии, которую мне время от времени приходилось вести, я говорил: «Ребята, вам хорошо, вы в моем деле все понимаете, а я вот в вашем...» В ее деле тоже было разобрататься нелегко. Она разрабатывала информационно-поисковые системы.

Однажды мы с ней не вытерпели и в субботний день (а он порой работал и по субботам) заехали к нему в институт, посмотреть, как выглядит его работа и как выглядит он на этой работе.

Мы часто проезжали, едучи на дачу к моей матери, по Варшавскому шоссе, мимо этих двух башен, построенных некогда основателем института, изгнанным во время лысенковского избиения генетиков из науки, а потом с триумфом вернувшегося в нее. Это был старый армянин, к тому времени, видно, так уже далекий от реальной жизни или, вернее, так презиравший эту жизнь, что он сознательно выбрал площадку для строительства на окраине города, вдаль от жилых домов и магазинов: «Меньше бегать по своим делам будут». Так, во всяком случае, гласила институтская легенда.

Город потом подошел к этим башням, но метро было далековато, и каждый раз дожидаясь в ночи сына, мы отнюдь не добром поминали амбиции отца-основателя его института, пытавшегося создать идеальный научный центр, где люди думали бы только о работе. В сущности, эти амбиции были проявлением менталитета тридцатых годов, с их фабриками-кухнями, конструктивистскими рабочими клубами и песней Шостаковича из кинофильма «Встречный».

В вестибюле сидела не старушка с вязаньем, а довольно хорошенькая девушка, на которую моя журналистская ксива не произвела никакого впечатления.

— Зачем вам сюда в субботу? Ведь все равно начальства нет.

Пришлось сказать правду. Оставив в залог удостоверение, она пропустила нас.

Прежде чем зайти в лабораторию, мы долго стояли у приоткрытой двери. Он сидел на высоком табурете, одетый в грязный халат, подчеркивающий его худобу, и с обезьяньей ловкостью что-то переливал, смешивал, смотрел на свет. Кругом ветвились трубы, стояли приборы, разноцветные порошки и жидкости на полках. И к тому же скверно пахло.

— Похоже, что вытяжка у них плохо работает, — беззвучно шепнула жена.

— Кухня алхимика.

— А помнишь, что сказал он, когда ты водил его к себе в редакцию?

Еще бы мне не помнить. Он был совсем маленький, кажется, еще и в школу не ходил. Сначала мы повели его в типографию, где тогда работала жена. Потом ко мне в отдел.

— Ну что? — спросила жена. — Как тебе понравилось у папы?

— Да ничего, — вяло ответил он. — Машинка, и то одна.

Его воображение поразили линоотипы и наборные машины типографии с их жаркими запахами и оставила равнодушным атмосфера редакции, где люди просто сидели за столами и писали. Но ведь и мы видели его дело в сущности по-детски — пробирки, грязный халат, химическая вонь, — не проникая сквозь кору зримо.

Сам он был подчеркнута антиромантичен в оценке своего дела и даже как-то брюзглив. В массовом сознании девяностых годов генетика занимала то же место, что физика в шестидесятые. «Генетик? О!..»

Он раздражался при любой моей попытке романтизировать его профессию — интересно, мол, наверное, основа жизни, микромир, и потом смотри, какие результаты, одно клониро-

вание чего стоит. Он приходил в бешенство, услышав нечто подобное. «Брось ты эту ерунду! Начитался всякой чуши. Работа как работа, скучная, монотонная...»

Но он, конечно же, был честолюбив. Ревниво следил за успехами сверстников, радовался, когда получал хотя бы промежуточный результат, когда статья выходила. С дикой целеустремленностью работал над диссертацией.

Болезнь изменила, сломала его характер и начала вырабатывать черты, которые в такой мере не проявились бы, будь он здоров. Уже тогда, в двенадцать лет с него сразу слетели веселость, живость, некая размягченность балованного любимого ребенка. В больнице я увидел его одеревеневшим; отрешенным. Вряд ли он уже тогда понимал все, что его ждет, весь смысл слов «на всю оставшуюся жизнь». Но, видимо, уже то, что он увидел и узнал, заставило его сжаться и застыть.

Мы приходили к нему каждый день. Гуляли по зеленому дворику, болтали на всякие отвлеченные темы, старались быть если не веселыми, то, во всяком случае, спокойными, уверенными в том, что все обойдется, жизнь наладится. Он вяло отвечал, уходя в себя, и взгляд стал совсем другой — взрослый, сосредоточенно печальный. Видно, много он узнал там и от сверстников, и от врачей.

Мы же с женой по-детски ловили взгляд зав. отделением, встречая ее в больничном коридоре. Все казалось: откликнется она на наш немой вопрос, скажет что-нибудь такое: «Ну, вот на поправку идет, обходится у вашего мальчишка...» Иногда останавливали ее, говорили об услышанном от знакомых, вычитанном в каких-то популярных журналах: «Мумие помогает, иглотерапия тоже снижает сахар...»

Она терпеливо выслушивала нас, благо оказались общие знакомые, были переданы приветы, а потом, видно, ей надоел этот научно-популярный лепет, она призвала нас в кабинет и жестко сказала: «Я понимаю вас, вы люди активные и примириться с ситуацией вам невозможно. Так вот слушайте меня, я знаю, что с вами будет. Вы, конечно же, перепробуете сейчас все неформальные народные способы. Не вы первые, не вы по-

следние... И поначалу вам будет казаться, что он идет на поправку, сахар падает, самочувствие улучшается. Но поправки здесь быть не может. Хуже бы не было. Потом вы обязательно придете к классическим методам».

Она была хороша собой, сравнительно молода, но уже с кандидатской степенью, и звали ее Мюда. Наверное, это значит — международное юношеское движение. Видно, папа был идеалист тридцатых годов.

Отделение, которое она возглавляла, было детским. Детская эндокринология. Дети бегали разные, на вид ничем не отличимые от обычных, здоровых. Я как-то взял на руки крохотную девочку, лет эдак двух. Она охотно, шла к посторонним — тяжеленькая, спокойная, ясноглазая. Я с ужасом думал о том, что ее ждет. Чем раньше заболевает человек, тем тяжелее все проходит и тем короче его существование. Дожила ли она до семнадцати?

Болезнь состоит в том, что поджелудочная железа, а вернее, часть ее, называемая островком Лангерганса, перестает вырабатывать гормон инсулин, необходимый для усвоения сахара. И если не вводить искусственный инсулин, изобретенный в двадцатые годы двумя канадскими учеными, человек умирает от отравления сахаром. Когда заболевает ребенок, все это накладывается на гормональный процесс формирования организма. У взрослых легче, у них все относительно стабильно. А у ребенка все в росте, в развитии. И тут еще это чудовищное нарушение обмена веществ.

Так, значит, в ее тельце крохотная поджелудочная железа не вырабатывает крохотные порции инсулина. А глаза у нее ясные, и гукает она, лепечет, как положено младенцу. Спокойно лежит у меня на руках.

Как сложилась ее жизнь? Никогда не узнаю. Лучше не знать,

В Германии мы живем на два дома. Наша с женой квартира — в Ганновере, его — в Берлине. Перебраться в Берлин непросто. Это сложная бюрократическая процедура — выяснение отношений между социальными ведомствами двух земель. Да мы и не знаем, надо ли перебираться? У него в университете вре-

менный контракт — на полтора года. А если потом он найдет работу где-нибудь в Аахене?

Кто-нибудь из нас всегда с ним. Чаще я, потому что у меня есть небольшой приработок в берлинской русскоязычной газете. Но иногда жена сменяет меня, беря на себя весь быт — готовку, уборку, стирку. Она делает все это более раскованно. Диета диетой, а нет-нет купит ему какое-нибудь лакомство — манго или сладкую булку (нельзя, но если очень хочется, то можно — надо лишь подколоть побольше инсулина). Она вообще чувствует его как самое себя, мучается от монотонности его жизни, однообразия еды. Ругает меня за автоматизм действий. Я делаю все быстро, четко, по заведенному порядку, не отступая от него ни на йоту. Приготовил завтрак, собрал пакет с едой и отключился, углубился в свое. Она же думает о нем постоянно, живет в нем. Пуповина не перерезана.

Мне вообще свойствен не столько автоматизм, сколько мечта о нем. Еще в утренней дреме расписывается день — подъем, зарядка, холодный душ, три часа на язык, четыре — за рукописью, столько-то гулять, столько-то смотреть телевизор. Сладострастие четкости, инфантилизм плана — если каждый день по три часа на язык, то через полгода... а через год... Магия ритма, всеохватная целеустремленность жизни.

Почему мы так неразлучны? В конце концов, он 35-летний мужик, достаточно ориентированный в жизни, умный, практичный, хотя и внешне моложавый, как многие нынешние университетские ученые (худоба, джинсы, свитер — в толпе студентов и не отличишь). Почему ему не отправиться бы одному, освоиться, внедриться в иноземное бытие, а уж потом, когда я выработаю ресурс своих амбиций и интересов, связывающих с Россией, мы с матерью могли бы приехать к нему доживать век? Так мы, собственно, и планировали. Но, словно перст Божий, два события поломали эти планы.

С самого начала его болезни мы искали контактов с семьями, оказавшимися в нашем положении, и в течение многих лет следили за ними, как бы определяя конформистские критерии — а как другие справляются? Была среди них семья

некоего художника, где сын, ровесник нашего, заболел годом раньше. Год казался нам тогда дистанцией большой, во всяком случае, достаточной для обретения опыта.

Помню, как мы с женой отправились в этот дом — в богатую квартиру на Сретенке с неправдоподобно высокими потолками, со стенами, увешанными модернистской живописью хозяина (художник был светским богатым оформителем, а живопись — нетленка, оправдание жизни), с какими-то диковинными вьющимися растениями и не менее диковинными щебечущими заморскими птицами.

И хозяйка дома выглядела как заморская яркая птица — пестро и модно одетая, подкрашенная, приветливо щебечущая. Из всего того, что она нам говорила, запомнилось: «Мама мальчика должна быть красивой».

Этот афоризм, показавшийся нам тогда кощунственным, возможно, был реакцией на нашу отрешенность и некоторую запущенность, но в нем проглядывала и определенная позиция той семьи. Все сам, никакого снисхождения, жить как все, не отказывая себе, по возможности, ни в чем, отдаваясь страстям, реализуя интересы.

После этой единственной встречи мы через общих знакомых долгие годы следили за судьбой этого мальчика, так ни разу и не увидев его (в тот раз его не было дома), следили с затаенной ревностью, со страхом и жгучим интересом.

В четырнадцать он поехал на междугородный шахматный турнир, у него имелся разряд (и это мы знали), простудился в гостинице, с трудом вернулся домой и слег в больницу. Мы своего уговорили бросить шахматы, у него тоже был разряд и тоже турниры, но он с такой страстью отдавался игре, так мучился при неудачах, что мы решили: это нервное напряжение ему ни к чему, чемпионом все равно не стать. Он поверил и никогда больше не садился за доску, преодолев эту страсть, как преодолевают запой — бросив раз и навсегда. А тот играл, ездил, чего-то добивался.

В двадцать он жил один в купленной ему родителями однокомнатной квартире, работал фотокорреспондентом (я видел его работы, они были талантливо сделаны), в двадцать один

женился и развелся. Потом снова женился и развелся. Пил. Ездил за границу. Мотался с фотокамерой по стране.

Во всем этом был вызов болезни, нежелание считаться с ее требованиями, российское «однова живем», видимо, соответствовавшее его характеру и воспитанию. И мы ощущали в его жизни словно бы укор, видели контраст нашему аскетическому, осторожному существованию, нашим выношенным и спланированным целям. И билось в нас, гнездились и мучило: а может, так и надо, может, он прав?

И вот за пару лет до отъезда звонок нашей общей приятельницы. Он умер. Не дожив до тридцати пяти. Один в своей квартире, после попойки. Рядом не было никого, кто бы помог, спас, вызвал врача, вывел из комы.

И вторая смерть — секретарши моего отдела, тоже ровесницы сына. Она была хороша собой, разведенка, но как-то сторонилась мужиков (а впрочем, могли быть тайные романы), религиозна, жила одна, пестуя огромного пса, которого называла: «Мой мальчик».

Я же и заметил у нее диабет — похудела, много пила. «Оля, сходите к эндокринологу». — «Да что вы, просто жарко, пить хочется».

Я чувствовал себя старым осторожным евреем из анекдота: «Француз, когда ему хочется пить, пьет вино, немец — пиво, русский — водку, а еврей делает анализ мочи».

А через месяц со смущением, дерзостью и дрожью в голосе: «А вы были правы. У меня диабет».

Как-то весной, в гриппозную пору, в четверг сказала, что простудилась, завтра не придет. А в понедельник звонок соседей — умерла. Воспаление легких. Уже больная, выгуливала собаку. Высокая температура. Кома. Пес начал выть. Соседи пришли, когда было поздно.

— Они не должны жить одни, — оплакивала ее моя жена. — Понимаешь? Не должны. Они же при высокой температуре отключаются, не соображают, что надо подколоться.

И в этом «они» при всем нашем растворении в сыне была черта, отделяющая нас — здоровых, от них — больных, больных, больных.

Те, кто видел нас в начале его болезни, вспоминали, как резко мы изменились. Мы были сорокалетними мужчиной и женщиной, достаточно преуспевшими в той жизни и хлебавшими эту жизнь полной ложкой. Она — способный ученый с кандидатской степенью в элитарном информационном институте. Я — журналист, написавший несколько книжек, публиковавшийся не только в газете, где работал, но и в толстых журналах. Мы неплохо зарабатывали, хорошо одевались, общались с интересными людьми. При всем своем еврействе, при недоданности того, что, как мы считали, нам должно было даваться, мы ощущали свое преуспеяние. Нам был свойствен форс. И вот этот форс пропал.

Один из моих друзей, годы спустя, рассказывал, как увидел нас где-то в центре, на людной улице, растерянно стоящими среди толпы. Он увидел постаревшее, без косметики лицо жены, мой мятый костюм, ощущение отрешенности, одиночества, которое исходило от нас. Он решил не подходить, не окликать, почувствовав неуместность обычного уличного разговора. У нас и правда тогда пропал вкус, интерес к жизни, остались лишь новые заботы, наполнившие наше существование, — инсулин, шприцы, диета, анализы.

## СУБСТАНЦИЯ ЖИЗНИ

Этот сюжет сопровождал нас с того самого момента, когда мы впервые получили в поликлинике первую порцию инсулина и, глядя на мутноватую жидкость, что колыхалась за стеклом флакончика, думали, что она соединяет теперь нашего ребенка с жизнью, становится как бы субстанцией его существования. Мы получали его бесплатно. Во всем мире инсулин давали бесплатно.

Их везут по железной дороге или в фургонах-скотовозах. Потом держат во дворе мясокомбината, непоенных, некормленных, предчувствующих конец жизни, проведенной во влажном навозном воздухе тесных воловней. И вот они ступают

на последнюю дорогу, на плавно идущую конвейерную ленту, и ощущение смерти заставляет их истошно и протяжно мычать. Прикосновение электрического наконечника, оглушающее током, взмах ножа бойца, отворяющего шейную артерию, крючья подхватывают бездыханную тушу, и вот уже, пройдя через обдирочный автомат, с громким чмокающим звуком она выскакивает из шкуры, нагая, красная, чуть трепещущая. Дальше, дальше полосуют ее ножи, разрезая части тела, внутренности, добираясь и до поджелудочной железы, которую положено осторожно отделить, охладить, передать на особый биохимический завод, где из нее сделают инсулин — субстанцию жизни моего ребенка.

— Выпейте коньяку, — предложил директор мясокомбината, сочувственно глядя на меня, когда я, выйдя из цеха, вошел в его кабинет. — Первый раз это видеть нелегко. Потом привыкаешь.

Не помню, на каком уж году болезни ему все время становилось худо. То лихорадочное возбуждение и блеск в глазах, говорящие об избытке сахара в крови и опасности комы, то потливость, дрожание рук — знаки падения сахара. Казалось, обузданный, скомпенсированный диабет вырвался из узды и разносил вдребезги его жизнь.

— Достаньте импортный инсулин, — тихо и многозначительно сказала врач, пожилая грустная женщина.

— А что, наш советский ему противопоказан? — спросили мы.

— Достаньте. Если сможете. Большого я вам сказать не могу.

Она что-то знала, и мы с нашим обострившимся восприятием всего того, что касалось судьбы сына, понимали: знание это для нее тягостно. Какая-то бездна разверзлась и может поглотить нас. Но какая?

Существовала строгая иерархия инсулинов. Для рабочего — советский. Для директора завода — югославский. Кремлевским старцам и их присным в поликлиниках на Грановского, Сивцевом Вражке выдавали датский и американский. Сырье было одно и то же — поджелудочные железы коров и свиней, а вот



технология разная. Впрочем, и технология, наверное, сходная, только в советской имелись небольшие отступления, то самое «чуть-чуть», которое на мировом рынке делало дерьмом как советский автомобиль, так и советскую обувь.

Это нам можно было сказать: «Достаньте импортный...» По всей России люди сидели на этом советском дерьме. Кололись, мучились, превозмогали себя. «Подколешься, отлежишься в будке, и пошел махать кувалдой», — рассказывал в больнице МПС сверстник сына — железнодорожный рабочий со станции Буй. Сколько ему оставалось махать, сколько ему жить оставалось, этому парню со станции Буй?

Иногда что-то на заводе разлаживалось, возникали какие-то трудноустраняемые дефекты, в результате которых препарат терял свое действие или в нем оказывалось столько примесей, что у диабетика наступала декомпенсация и со временем всякие осложнения — почечная недостаточность, слепота, гангрена. Но и такой инсулин продолжали выпускать, потому что был план и прекращение производства означало скандал, потерянные должности, партийные билеты.

Видимо, на этот сбой в технологии и намекала наша врачиха. И до меня годы спустя глухим отголоском какого-то ушедшего в песок ведомственного расследования доходили подтверждения этого эпизода: да, одно время шел негодный инсулин, возросла смертность среди диабетиков.

Люди погибали, и никто не знает, сколько их погибло по всей России, по этим станциям, рай- и облцентрам, где к тому же и мясо всегда было с бою, а для диабетика животный белок — вареная говядина — обязательное условие питания.

«Достаньте импортный...» Это сверлило и мучило нас неотступно. Как достать, где достать?

За мной была семья — многочисленная и сплоченная. Отец, после шестнадцатилетней отсидки не сломленный, вернувшийся к своей журналистской профессии. Брат, преуспевавший экономист, которому оставалось жить в России всего три года, а потом началась эмиграция, Бостон, Гарвард, и оттуда-то он

впоследствии и оплачивал зарубежные инсулиновые поставки. Мать. Сестра. Невестка. Племянники. Все они были активны, окружены друзьями и составляли сострадающую и готовую помогать среду.

Эта среда была словно упруго натянутая сетка, куда ты падал со своими драмами и которая не давала упасть, пропасть, отчаяться. Она глядела на тебя десятками участливых, жалостливых глаз, и надо только преодолеть свою гордость, нежелание открываться, преодолеть свой форс. Надо стать Иовом многострадальным, сидящим в пыли и взывающим к людям и Богу. Надо поверить, вопреки всему услышанному, что все возможно. И действовать.

Мы жили в строго иерархическом обществе. Каждому было положено только то, что положено. И выпрыгнуть из своей ячейки, как ни крутись, невозможно. Советский инсулин — пожалуйста. Датский? Можно найти врачей и аптекарей из кремлевских поликлиник, через руки которых проходят сотни флаконов этого инсулина, но поставить тебя на довольствие они не могут ни за какие коврижки. Сделай карьеру, стань главным редактором, инструктором ЦК — поставят, сами придут и принесут. А пока — хоть застрелись. И черный рынок не поможет. Это ведь не разовая порция, а постоянное довольствие. Из-за границы привезти, это же надо — в капстрану, куда в моей среде почти никогда не ездят, да и валюту откуда взять?

Я впервые увидел живой доллар в 92-м году, когда отправился в Штаты, и тратить его мне казалось кощунственным — не из скупости, просто — это ж доллар! Когда в нью-йоркском метро полицейский неправильно показал мне переход, и я вынужден был заново брать билет, как же я костерил его про себя: «Сволочь, не мог объяснить по-человечески, полтора доллара из-за тебя потерял!»

Мы вышли аж на дочку министра медицинской промышленности. Он мог дать любой отечественный препарат, но поставить на довольствие датским инсулином не мог. И я понимал, что не может.

Но то, что не мог министр, смогла подруга моей матери — маленькая старая женщина, работавшая рядовым редактором в АПН. Ее отец — один из основателей Итальянской коммунистической партии — умер в Москве, года не дожив до большой сталинской чистки. Сама же она в 37-м была замужем за сыном одного из ленинградских партийных руководителей. И отца, и сына расстреляли. В семидесятые она, что ни год, ездила на родину, где имелись и родственники, и друзья детства. Да и коммунистические лидеры довольно тепло ее принимали как дочь одного из отцов-основателей партии. Вот она-то и привезла нам первую годовую порцию датского инсулина, купив его за те скудные лиры, которые у нее имелись.

Тот, кто не жил в те годы в России, просто не поймет меры этого благодеяния. Мы не могли вернуть ей эти деньги в какой-нибудь западной валюте — лирах или долларах, а рубли никакого значения не имели. Ведь именно ради валюты люди всеми силами пробивались в поездки, а еще лучше на работу за рубеж — будь это хоть какая-либо дикая африканская страна с чудовищным климатом и опасностями для жизни. Это давало возможность купить кооперативную квартиру, машину, импортную одежду, вырваться из нищеты. Люди годами питались всухомятку, портили желудок консервами, считали каждый доллар. Тратить валюту на знакомых мог только безнадёжный альтруист. Именно об этом мы думали, перебирая маленькие флакончики в красной упаковке.

Она привезла их и год спустя. А потом брат из Бостона начал посылать по паре сотен долларов ее друзьям в Рим, они закупали очередную партию и с оказией отправляли в Москву. Вот такая транснациональная система действовала почти без сбоев много лет. Я называл это переправкой «Искры», а участников — агентами «Искры». Ассоциации-то, даже иронические, были советские, историко-партийные.

Римское звено представляло собой маленькую лавочку, хозяевами которой была чета коммунистов. Сюда постоянно заглядывали их товарищи по партии, а также и сочувствующие соседи. Обсуждение политических новостей шло с итальянским темпераментом, знакомым нам по неореалистическим

фильмам. И вообще то была скорее не лавочка (торговля шла не очень бойко), а политический клуб. Так, во всяком случае, это выглядело по рассказам нашей благодетельницы.

Начиналась-то система в Гарварде, среди старинных, красного кирпича университетских зданий, где располагался Русский центр — прибежище брата. Здесь тоже был, в сущности, политический клуб, только русский и более высокого ранга. Делались доклады с далеко идущими прогнозами, выступали диссиденты, а потом стали приезжать знатные демократы.

Отсюда, а может, из дома брата — коттеджа в колониальном стиле на тихой бостонской улочке — посылался импульс, приводивший в действие систему отправки «Искры» — переводились деньги. Потом в Риме хозяин коммунистической лавочки отправлялся в аптеку и ставил в холодильник (обязательно на самую дальнюю от морозильника полку, специально несколько раз предупреждали — чтобы не поморозить драгоценную жидкость, она живая, не замороженная должна быть) упаковку с флакончиками. Там она ждала курьера — саму нашу благодетельницу или кого-нибудь из ее друзей, отправлявшихся в Москву. Как правило, это были коммунисты, и потому русская таможня относилась к их багажу снисходительно.

И вот, наконец, звонок — прибыло. Хватаем цветы, какой-нибудь специально имеющийся на сей случай подарок (жена создала целый фонд подарков — врачам, сестрам, всякого рода диабетическим благодетелям) и мчимся на проспект Мира, где в однокомнатной квартире, уставленной книгами на трех языках, нас ждет седая женщина с сияющими глазами (делать добро «легко и приятно»). Иногда с нами сын. И она оценивающе, как на свое произведение, смотрит на него, треплет по щеке: «Ну, что мой мальчик?» И в этом потрепывании, в этом «мой мальчик» едва уловимый след иной культуры, иного мира.

В 87-м брат впервые после десятилетней эмиграции приехал в Москву в качестве личного гостя американского посла. Этот посол Мэтлок — профессиональный советолог — был непременным участником тогдашней российской демократической тусовки. Ему-то и пришла в голову мысль пригласить гарвард-

ского советолога-эмигранта с тем, чтобы он рассказал российской общественности, как в США воспринимают перестроечные перемены и какие экономические прогнозы имеются на сей счет.

Москва долго, до самого вылета не давала визы. Не было тогда еще моды пускать даже на время «предателей родины». Брат нервничал, мы тоже. Неужели не увидимся? За пару лет перед тем я пытался съездить в Венгрию с тем, чтобы встретиться с ним в Будапеште. В ОВИРе вернули документы с иронической ухмылкой. В госдепе его успокаивали: «Никуда не денутся. Вы личный гость посла. Они же понимают: мы не дадим визы первому же личному гостю Добрынина».

После первого выступления Мэтлок устроил прием. Это казалось реализованной хлестаковщиной: «За столом слева английский посол, справа австрийский посол...» И все в нескольких километрах от старого послевоенного дома, где мы с братом в детстве ели картошку с подсолнечным маслом на коммунальной кухне.

— Что я для тебя могу сделать? — спросил он, когда мы после приема сидели ночью за бутылкой в родительском доме. — Об инсулине не думай. Пока жив, буду оплачивать. А впрочем, теперь и самим возить можно. Но, может, тебе денег дать?

— Понимаешь, глупый благотворитель дает деньги. Умный — работу.

— Понимаю. Попробую.

Меня жгла мечта создать инсулиновый фонд. Я хотел платить сам, из своих заработанных денег, хотел иметь для этого свои нерушимые доллары.

Через месяц пришло предложение из элитарного бостонского журнала прислать список тем. Выбрали они такую: «Газетная революция в СССР». Работая в «Огоньке», я варился в котле этой самой революции, переживая сначала обретенные, а потом утраченные надежды на свободное самовыражение. Добывать материал мне не нужно было. Но, посмотрев зарубежные статьи типа той, которую мне заказали, я понял, что интеллектуальная концентрация там довольно высокая, да и фактов вложить в эти восемь-десять страниц текста придется

куда больше, чем у нас в два авторских листа. И я отсеивал, мессил, уплотнял материал, насыщая статью до недоступных мне доселе пределов густоты. Щедрый гонорар за нее положил основу нашего инсулинового фонда.

Затем я предложил им написать о Ельцине, который в то время был всего лишь депутатом Верховного Совета. И кажется, еще зампредом Госстроя. Они ответили, что американскому читателю это имя ничего не говорит. Что же касается большой политической карьеры, которая, по моим уверениям, ждет этого человека, то надо еще, чтобы такая карьера состоялась. Но тут Ельцин избрали председателем Верховного Совета России, и я получил факс с предложением немедленно, в кратчайшие сроки сделать статью. Выходило, что мое доверие Ельцин оправдал, и теперь ему предстояло поработать на наш инсулиновый фонд.

Понятно было, что биографией и описанием последних событий при всей живописности ельцинского бунта против Политбюро здесь не отделаешься. Нужны были исторические аллюзии более глубокого плана, да еще понятные американскому читателю. И я углубился в психологию популизма (термин тогда забытый), вспомнил аргентинского президента Перона, американского сенатора Хью Лонга, послужившего прототипом героя романа «Вся королевская рать», покопался в этимологии слова, переводимого на русский язык как «народничество». Словом, поплясал вволю, хотя, возможно, самому моему герою эти пляски были бы не по нутру. Статья прошла со свистом, с ельцинским портретом во всю обложку и опять-таки с очень щедрым гонораром.

Но не успел я осознать, что являюсь теперь владельцем нескольких тысяч долларов, которых должно хватить на оплату инсулина на долгие годы, как пришел август 91-го. И тут мы поняли, как иллюзорны все наши планы, как эфемерен этот только что полученный капитал.

Положив телефонную трубку ранним утром 19 августа 1991 года, я спросил у жены:

- Сколько у нас инсулина?
- А что?

— А то, что в России переворот.

Она пошла к холодильнику пересчитывать флаконы.

— На полгода. Будь они все прокляты с их переворотами. Какие мы идиоты, что не уехали,

И весь этот долгий день, когда я видел из своего «огоньковского» кабинета подъезжающие к нашему подъезду бронетранспортеры и ожидал топота сапог по коридору (оказалось, заблудились, не зная Москвы), и потом стоял на мосту неподалеку от Белого дома в цепи взявшихся за руки людей передшедшим на нас танком (страшно было безумно, но не уйдешь, не вырвешься, а наоборот, еще теснее вцепляешься в руку соседа, а он — в твою), и карабкался по чердакам, чтобы вместе с фотографом найти наилучшую точку для съемки, билось в мозгу, в сердце, где там еще бьется у нас неотступно: «Суки, сволочи, все пропало, снова огородят страну, снова мавзолеи, патриотические песни Кобзона и все такое, мать их... А инсулина на полгода».

Потом эти вспышки страха повторялись и в парламентские выборы, и в президентские, когда, казалось, Зюганов вот-вот на белом коне въедет в Кремль. И хотя сам же я в своих статьях рассуждал, что ничего не изменится, что назад пути нет, и вот уже национальный капитал сформирован, и собственность так просто никто не отдаст... И Бог знает чего там не говорится в журналистских политических перепалках. Но все билось: а инсулина на полгода.

Почти физически ощущаемый в сумерках вагона стон: «Поми-и-раем!»

Ночь. Поезд, Пустые перроны в неживом люминесцентном свете. Вереницы тележек «Коффер-кули». Стеклоблочные будки ожидания. Трафаретные вывески на латинице: «Потсдам», «Бранденбург», «Магдебург». И снова непроглядная законная тьма, в которой лежат чуть припудренные снегом ровные ухоженные поля. В вагоне я один. Я один мчусь сквозь это прусское пространство. В Потсдаме еще стоят пустые, загаженные, населенные крысами казармы советских войск. Продается Дом

офицеров. За бесценнок. Вместе с памятником Ильичу. Брауншвейг — это уже перескок на Запад.

В купленной в Берлине русской газете — фотоснимок письма с Алтая в Москву, в Российскую диабетическую ассоциацию: «В Алтайском крае сложилась очень тяжелая ситуация с обеспечением инсулином больных сахарным диабетом. Больные вынуждены делать инъекцию через день или утром делать в поликлинике, а на обед или вечером набирать инсулин в шприц. Тяжелейшее положение в сельских районах края. Есть смертельные случаи. Все больные инсулинозависимой формой диабета находятся в декомпенсации».

И в поезде, в ночном вагоне, что мчит через европейскую глухомань, раздается почти ощутимый физически стон: «Поми-и-раем!»

Успели, удрали, выскочили, как выскакивали из гетто, оставляя после себя страх и безнадежность.

Инсулин — это та капля, в которой весь океан. В нем выразилось все, чем жила Россия в девяностые. Эйфория перестройки и — прекращение отечественного производства со всеми его срывами, грязью, осложнениями.

Ура! Да здравствует свобода, равенство и братство. То, что выдавали лишь в кремлевских поликлиниках, а мы получали из Италии, а потом из Америки — датский «Ново Нордиск», американский «Эли Лилли» (как ласкали когда-то нам слух эти названия фирм), появилось теперь на российском рынке — высокоочищенные хумулины, созданные с помощью генной инженерии, — аналоги гормона, вырабатываемого поджелудочной железой человека.

Кому-то при дармовой раздаче доставалось и кое-что похуже, и все же Россия сидела на инсулиновой игле Запада, расплачиваясь валютой. Мы-то уже давно, отказавшись от зарубежных посылок, покупали все, что нам было нужно — инсулин и тест-полоски для глюкометра, — на черном рынке, который имел любые импортные препараты.

Однажды наш поставщик — подпольный медицинский де-

лец — огорченно сказал: «Нет, не поступало». У нас имелся страховочный запас, и можно было ждать. Но что-то кольнуло, как тогда, много лет назад, в разговоре с врачом: «Достаньте импортный...» Что-то происходило на рынке. Месяц спустя снова отказ. Тут уж жутковато стало. Позвонили в Бостон, никто в Москву не собирался. Идти в районную поликлинику, где сын не показывался много лет, бесполезно.

Хумулин, который мы покупали, давали детям или больным-доходягам. Конечно, совсем уж на крайний случай можно было срочно оформить визу в Штаты и самому привезти партию инсулина — времена-то не те, советские, когда сидели за глухой стеной. Но дальше-то как, снова агенты «Искры»?

Нажав на информационные рычаги, через газетные каналы узнал, что происходит. Как и предполагал — разборки на рынке с коррупционной подоплекой. Новый министр здравоохранения, статный красавец, медицинский генерал, провозгласив кампанию в поддержку отечественного товаропроизводителя, с подозрительной настойчивостью протезировал некой майкопской фирме, начавшей производство практически еще не проверенного животного инсулина. А так как Москва при поддержке крупнейших диабетологов отказалась возвращаться на это российское дерьмо, то он наложил запрет на поставку импортных хумулинов, так что даже уже закупленные партии не могли пройти через таможню без лицензии Минздрава. Когда мне назвали размеры инсулинового бюджета — 90 миллионов долларов, стало ясно, что борьба здесь будет идти не на жизнь, а на смерть не в переносном, а в самом буквальном, вплоть до заказных убийств, смысле.

В последний момент, когда я собрался уже лететь в Штаты, импортный хумулин прошел-таки через таможню и появился в городе. Но очевидно было, что это только начало. И, конечно же, дальше пошел настоящий триллер с арестом двух начальников главков, срочной отставкой красавца министра и отъездом его в Испанию в качестве российского консула в Барселоне.

Мы следили за всей этой детективщиной, уже собирая чемоданы, и потом в Германии, где все эти чернорыночные роско-

шества — хумулины и тест-полоски — выдавались бесплатно с отстраненной немецкой аккуратностью.

Между тем сюжет «инсулин как зеркало русской революции» разворачивался со зловещей предопределенностью. Денег не хватало уже на закупку не только импортных хумулинов, но и майкопского препарата, который, так и не пройдя клинических испытаний, пошел по стране. Бесплатно, за счет федерального бюджета, его теперь получали лишь дети, беременные женщины, слепые и безногие (слепота и ампутация ног — среди последствий диабета). О прочих должны были позаботиться власти на местах, которые сидели без денег, и вопли неслись со всей страны.

Некогда, сидя в совхозной конторе, я с изумлением услышал, как диспетчер вызывал по рации бригадиров: «Я «Инсулин», я «Инсулин!» «Клен», ответьте».

— Отчего такой странный позывной вы выбрали себе? — спросил я диспетчера. — Почему «Инсулин»?

— Слово красивое.

Теперь страна кричала: «Инсулин, инсулин! Ответьте!» Но к кому она взывала? Кто должен был ответить?

Мы часто вспоминали парня со станции Буй. Москва, куда он попал в первый раз, опьяняла его. Он то и дело удирает из больницы с девчонкой из женской палаты, и однажды его привезли в коме. Они пили «Фанту», напиток на станции Буй тогда невиданный и поразивший его своим вкусом. В этой «Фанте» с ее сладкой едкостью можно было, по-моему, растворять гвозди. Он пил ее с упорством маньяка, пока не пропил все деньги, которые привез с собой. Это были их столичные кутежи с той девчонкой: Москва, Красная площадь, ГУМ, «Фанта» у киоска. Так разворачивался их роман — роман двух диабетиков.

— Он попросил у меня денег взаймы, — сказал сын.

— Дай, конечно.

— Но он пропьет на «Фанте», и опять его будут выводить из комы.

— Ох, не знаю... Может, все-таки дать?

— Мы можем убить его своей добротой.

«Фанта» была единственной плотской радостью парня со станции Буй. Она могла убить его. Но он хотел пить «Фанту».

Люди со станции Буй, с Алтая, из Орла кричат в мою европейскую глухомань. И поезд мчится через ночные поля, неся с собой их крики. Как преодолеть плоть, боль, сострадание? Вернуться в Россию? Но моя плоть и боль здесь.

## ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ АНДЕРГРАУНД

Самое трудное для меня по утрам — видеть, как он делает укол. Чуть отводит руку со шприцем, потом на мгновение замирает и вводит иглу в бедро или в живот. Он колется несколько раз в день — дома и на работе.

За долгие годы я не могу привыкнуть к этому мгновенному напряжению, к игле, входящей в плоть.

За четверть века его диабета все изменилось. И инсулин у него теперь американский, человеческий, и шприцы миниатюрные, одноразовые, с маленькой иголкой.

Когда-то шприц для нас был такой головной болью, таким сложным сюжетом, в котором участвовало столько разных людей...

Его обучили колоться в больнице, но для того чтобы не использовать все время одни и те же доступные ему точки, в ягодичи, спину, задние части рук должен был делать укол кто-то из нас — жена или я. Сначала мы тренировались на апельсине, оказывается, так делают и начинающие медсестры. У жены получалось, у меня — нет. В апельсин я всаживал иглу то слишком сильно, то слабо. С самим собой эту процедуру с грехом пополам для тренировки проделывал, закусывал губу и колотся. Но вот представить себе, как я буду это делать на нем, просто не мог. Жена обходилась без меня, но постоянно над нами висело: а вдруг она заболит или ей надо будет срочно уехать...

И тогда сработал классический, многократно описанный импульс изобретения: если не можешь или не хочешь делать как все, ищи свой путь. Я решил автоматизировать укол.

Собственно, шприцы-автоматы существовали за рубежом, но рассчитаны они были на малые дозы инсулина и нам

не подходили. По такому же принципу действовала детская игрушка: пистолет, стреляющий палочкой с резиновой присоской на конце. Палочка вставлялась в дуло пистолета, отводилась пружина, спускался курок и присоска влеплялась в стену или вам в лоб.

Эта игрушка и натолкнула меня на идею модернизации шприца-автомата малой емкости. Наполненный шприц с иглой укрепляется в ложе пистолета, и под действием пружины возникает небольшой ударный эффект. Вместо присоски игла входит в тело на определенную глубину. Остается ввести инсулин нажатием на шток шприца.

Разумеется, сам я этого сделать не мог. Надо было изготовить ложе, придумать систему крепления шприца, точно рассчитать силу удара. Требовался высококлассный механик. Я уж было начал подумывать о том, как бы подкатиться к Институту медицинского приборостроения. И вдруг, подобно Чичикову, сказал себе: «Эх, голова, ищу рукавицы, а они за поясом. Ведь есть же Данилыч».

Лет за десять до того, работая в московской городской газете, я написал статью в защиту разогнанного городского совета новаторов и его председателя Данилова. Это был степенный, немолодой рабочий с ворошиловской щеточкой усом, с солидными манерами знающего себе цену человека. Работал он токарем-лекальщиком (специальность редкая) в инструментальном цехе огромного авиационного завода и по всем статьям должен был принадлежать к знатным рабочим — социальному слою, столь же необходимому для советского антуража, как, скажем, партийный аппарат, и имеющему свое постоянное место в этом антураже.

Надо было видеть, с каким умилением говаривало на людях высокое начальство с такими рабочими. В этой размягченной улыбке, в согласном маятниковом кивании, в пожатии локтя виделись те же слони, которые распускались разве что в парадных встречах с детьми — «нашими советскими детьми». «Вот ведь дети-то какие у нас растут...» «Вот ведь что значит — наш рабочий человек...»

Низшие же партийные чины — инструкторы райкомов

и горкомов, выполнявшие функции дядек этих «наших рабочих человек», с ними особенно не церемонились, — были наставниками отечески строгими и суровыми. Пока зал пленума или актива наполняется народом, в закулисной комнате ДК молодой инструктор без усталости натаскивает годящегося ему в отцы, употевшего в своем тяжелом черном костюме «выразителя народного мнения».

— Ну-ка, еще разок. Да ты четче, четче, не комкай, и в зал смотри, прямо так, открыто... Тебе нечего скрывать, ты ж правду рубишь.

Самим этим инструкторам-дядькам, в обязанности которых входило пополнять число знатных рабочих, отыскивать их с подачи парткомов, тоже не позавидуешь. Казалось, от желающих отбоя не должно быть. Тут ведь и квартира в престижном доме, и машина вне очереди, и поездка за рубеж, и премии без отбоя. Но найти полноценного кандидата не так-то просто. Надо, чтобы не просто хорошо работал и был управляем, но и, скажем, внешне располагал к себе (то, что называется «хорошее русское лицо»), чтобы не пил, вернее, не напивался (а то вся его «знатность» до первого банкета), и чтобы найтись мог в трудном положении (не все же по бумажке, иногда самому, в своем же цехе отпор надо дать горлопану), наконец, чтобы не блядовал, не бегала жена в партком с жалобами: «Мой муж подлец, верните мне мужа». Тут от «делателя человек» и проницательность требуется, и житейский опыт, и знание среды.

Это ведь только на первый взгляд кажется, что советский рабочий класс един и монолитен, он-то, партийный инструктор, понимает, сколько в нем разных слоев и человеческих типов. Пьяница-несун, смиренный семьянин, истеричная безмужняя мать, честолюбивый пацан-комсомолец, изобретатель-одиночка. Все это материал, который знать надо и из которого ему, инструктору-идеологу, предстоит лепить общность, именуемую советским народом.

Так вот, Данилыча можно было бы отнести к изобретателям-одиночкам, если бы не его стремление как раз объединить этих изобретателей и защищать их интересы. Казалось бы, зачем, почему? Под эгидой профсоюзов существует ВОИР — Всесоюз-

ное общество рационализаторов и изобретателей с отделениями на всех заводах. На каждом заводе имеется БРИЗ — бюро рационализации и изобретательства, куда тебе, родной ты наш умелец, достаточно зайти, написать на форменном бланке заявку — хочу, мол, то-то и то-то усовершенствовать на своем станке — как тебе тут же десятку за инициативу на пропой выпишут (называлось это бризануть). Бризанул и совершенствуй себе на здоровье свой же станок. Если же ты хочешь все станки завода, а то и отрасли, оснастить своим изобретением, то это уж дела других людей, тут план новой техники, на это начальство имеется. Разумеется, если веришь в себя, можешь обращаться в патентное ведомство за авторским свидетельством, но там бюрократические лабиринты столь долгие, что не один такой умелец поседел и жизнь потерял в скитаниях по ним. (См. известный роман Дудинцева «Не хлебом единым».)

Все это сюжеты известные, набившие оскомину в те годы и в литературе, и в журналистике. Но явление-то было. На каждом заводе — серьезные, рукастые дяди, желающие самовыражаться таким вот образом — чтоб его резец, патрон или какая-нибудь оправка выпускались серийно и тем самым благодетельствовало государство. Они выламывались из общего ряда живущих житейскими делами людей, как выламывался их вождь и объединитель Данилыч из рядов знатных рабочих. Вроде бы и руки золотые, и партийный, и не пьет, и увлечения здоровые (подледная рыбалка — милое, чистое дело), и язык подвешен. (Да что язык — сам две книжки написал о своей жизни, романтически воспевая рабочие профессии. Правда, когда за рюмкой заговорили о его сыне, гроши зарабатывающего в каком-то издательстве, он сказал: «Не за станком же стоять».) Все это качества замечательные, но характер...

В разговоре с его дядькой-инструктором на мой вопрос: «Что же все-таки за человек Данилов?» — тот улыбнулся нежнейшей лучезарной улыбкой и сказал: «А безобразный, по моему, человек».

И как же не безобразный, если, пользуясь временным недосмотром городского начальства и объединив таких же, как он, мужиков в совет новаторов (слово эдакое нейтральное,

но надо же было уйти от уже существовавших названий — изобретатели, рационализаторы) и составив графики внедрения изобретенной ими оснастки, начал давить на директоров да на министерские главки, требуя реальных действий.

Продолжалось это недолго. Инстинкт власти при малейшем посягательстве на ее права («Кто здесь хозяин? Я, директор? Или какой-то там Данилов с его самозванным советом?») срывается мгновенно. Данилова сняли, поставили нормального знатного рабочего, при котором совет и занимался тем, чем ему положено — представлял. Мужики же ушли в подполье, или, как теперь говорят, в андеграунд, то есть собирались между собой, выпивая, костеря власть, помогая тем не менее друг другу при случае. И Данилыч у них был подпольным лидером.

В этот-то изобретательский андеграунд я и обратился со своей идеей. Данилыч понял меня с полуслова, покрутил в руках игрушечный пистолет, который я принес для блезиру, и сказал, что сам за это не возьмется, а лучше всех сделает Валя Моисеев, к которому я от его имени и должен отправиться.

И вот я у Вали Моисеева, нервного, худого, с быстрой скачущей речью, такие словно на винте одном живут и часто склонны к запоям. Но он-то романтик, интеллектуал. Дома в чистеньком кабинетике на верхнем этаже с видом на окраинный московский лес — пластинки с Бахом, Моцартом, полки, заставленные изобретенными им станочными патронами — увесистыми такими железяками. И у каждого название — «Спутник», «Мечта». Из двадцати внедрен один. Тут, пожалуй, запьешь.

К идее моей он отнесся с энтузиазмом, от денег отказался, дело гуманное, благое — какие деньги. В свою очередь спросил, если получится и он попытается запатентовать это приспособление, не претендую ли я на соавторство? Я сказал, что не претендую. Тогда он выдвинул два условия. Нужен материал для ложа — пластичный и твердый. Подошел бы фторопласт. Надо достать. Сказал, что достану. И второе. Не мог бы я позвонить директору его завода от газеты, рассказать о моей просьбе и о том, что другого такого умельца нигде найти не могу. А потом прийти в цех, поговорить с начальником, и мастером.

Конечно же, звонил директору, рассыпался мелким бисером, сидел в цехе у начальника и мастера, непроницаемо равнодушным к моим байкам и никак отношения к своему всеизвестному изобретателю не выказывающим. Похоже, что им было наплевать и на меня, и на него, и на шприц, но не отказывать же человеку с журналистской ксивой.

В конце концов у нас в шкафу, специально выделенном под всякие диабетные причиндалы, появились два шприца-автомата, точно сделанные, выверенные, и служили они нам долгие годы, сняв мои комплексы относительно уколов.

## ПЕРЕД СТЕНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Иногда мне казалось, что я пал жертвой собственного литературного приема.

В своих публицистических штудиях я как бы собирал и разбираю социально-экономический механизм государства Российского. Ну, может, не весь механизм, а отдельные его узлы. И делал это с помощью приема, который я про себя называл «пепельница».

Ассоциация была чеховская, Молодой Чехов, отвечая на вопрос, как он пишет свои рассказы, говорил, что сюжеты повсюду, их рождает любой предмет: «Вот, скажем, пепельница...» Он взял ее со стола, пишет мемуарист, повертел в пальцах, и казалось, что вокруг начали роиться сюжеты.

Я брал комбикормовую гранулу — крохотный отформованный столбик, обеспечивающий животному сытное и сбалансированное питание и превращающий его в машину для производства мяса. В этот столбик входило с десятков компонентов — зерно, витамины, масляные шроты, сахарный жом, рыбная мука. Государство должно было собирать эти продукты со всех концов страны и свозить на комбикормовые заводы. Но не собирало, вернее, собирало очень плохо.

Я катал гранулу между пальцев и писал о том, какие разнообразные личные страсти и проблемы — отношений регионов и центра, партийного и хозяйственного аппарата, социальных



слоев — стоят за этой крупинкой. Вывод об упразднении противоземного строя (во всем мире этих проблем не было) я делать не мог, но подойти к заветной черте было возможно, поплясав около нее в свое удовольствие.

Или оренбургский пуховый платок, без которого не обходится ни одна крестьянка. Тут пляски шли вокруг распространенного на юге России пухового промысла, который, будучи остатком экономической самостоятельности сельской семьи, противопоставлял ее колхозам.

Я был не молодым Чеховым, а сорокалетним советским журналистом, но такие игры доставляли мне удовольствие. Взять некий предмет и увидеть за ним хитросплетения человеческих отношений — это было занятно.

Но вот этот прием стал моей жизнью.

Розанов пишет в «Опавших листьях»: «Я учился в Костромской гимназии, и в первом классе мы учили: „Я человек, хотя и маленький, но у меня 32 зуба и 24 ребра“».

У меня человек хотя и маленький, но у него есть поджелудочная железа, часть которой не работает, не выделяет положенный инсулин. И вокруг этой поджелудочной железы и ее части, называемой островком Лангерганса (кто был этот Лангерганс — наверное, ученый-анатом?), начали крутиться события, наполнившие нашу жизнь. Эту железу нельзя потрогать, как гранулу комбикорма, пуховый платок, она — под гладкой детской кожей, глубоко в теле, но она стала знаком нашей беды и всего того, что с нами происходило.

А может, такая аналогия кощунственна. Но ведь когда пишешь, как бы отходишь, отстраняешься от своей беды («Слово изреченное есть ложь»), и потому не кощунственно ли само писание?

И модернизация шприца, и добыча датского инсулина как будто бы означали наше примирение с ситуацией. Но мы не примирились с ней. Мы создавали себе надежный тыл — лучшее

из того, что обеспечивало существование в условиях диабета. Сам же диабет мы принять не могли.

Все было, как предсказывала доктор Мюда. Мы стучались к иглотерапевтам и йогам, к экстрасенсам и знахарям. Мы бились головой в стену, в ту каменную стену, под которой «человек из подполья» подразумевал выводы естественных наук, математику, законы природы, которые мы обязаны принять. Ту стену, которая Действительность, что всегда разумна, Необходимость, что не давала Кьеркегору соединиться с Региной, а Иова лишила его стад и детей. И мы тоже были игроками в этой экзистенциальной Игре, и имя Мюда (международное юношеское движение) было псевдонимом Необходимости, Разума, а мы — выступали в роли Иова, Кьеркегора.

Нам говорили: не вы первые, не вы последние, ничего не поделаешь, бывает и хуже, вы еще молоды, заведите себе другого ребенка, живите, как все в такой ситуации. Мы не хотели как все, мы не хотели другого ребенка, мы хотели, чтобы этот был счастлив.

Мы верили, хотели верить в то, что можно излечиться, вопреки Действительности, которая говорила, что нельзя. А если и нельзя, то, значит, должно ему жить жизнью нормального человека, работать, любить, радоваться, вопреки Опыту, который утверждает, что нельзя. Это был наш уход к Иову, Аврааму, библейскому Богу.

Наш бунт был так же экзистенциален, как бунт саббатянца, идущего за своим Мессией, как бунт крестьянина, не желающего знать, что он подневолен, как всякий бунт массы, не приемлющей логики разума. Можно было бы сказать, что отсюда же и революция. Но революция, бросив вызов Необходимости и сломав ее, сразу же рождает другую, не менее жесткую Необходимость. Поэтому экзистенциален лишь акт бунта, а все последующее разумно и обусловлено.

## ЖАЛО В ПЛОТЬ

Странно пишется эта повесть. То неотрывно, залпом, страница за страницей, то вдруг заколодит, замрет, и знаешь, что, о чем, а не идет. Вот должна войти в сюжет Татьяна — пышноотелая красавица Татьяна, первая целительница и наставница сына из череды последующих, а не входит. И нажать боишься, не порвать бы эту тонкую ткань, что зовется повествованием. Сюжет меж тем развивается не только в прошлом, но и в настоящем.

Мучительно его берлинское житье. Вчера пришел пораньше, Пораньше — это не в десять-одиннадцать, а в восемь. Попросил у меня бумагу и сел готовиться к завтрашнему семинару.

Их там всего четверо в лаборатории — профессор и три научных сотрудника, если не считать аспирантов и студентов-дипломников. Так вот, они время от времени устраивают семинары, обсуждают ход работы. Казалось бы, чего естественнее.

Но, во-первых, при кажущейся внешней свободе мнений надо учитывать какие-то ведомые только профессору обстоятельства, связанные с необходимостью отчитываться перед заказчиком, сроками выполнения заказа, наконец, собственным профессорским мнением, противоречие которому отнюдь не вызывает энтузиазма. Похоже, что те двое знают, что и как надо говорить и чего говорить не надо, а мой парень этого пока не понимает, да и к тому же, приученный у себя в Москве к большей независимости и свободе самовыражения, считает недостойным лавировать в научных обсуждениях. Возможно, это и вызывает начальственное раздражение.

И второе — язык. Полгода курсов дали знания в ничтожном для работы объеме. Обычно люди его возраста идут на какие-нибудь профессиональные курсы, а потом еще и сами занимаются языком одновременно с поиском работы. Он же нашел ее через несколько месяцев после курсов, что считается невероятной удачей. Разговаривают с ним по-английски, Университеты здесь в своих исследовательских подразделениях интернациональны (китайцы, африканцы, арабы), поэтому английский принят. Но общение затруднено, иногда возникают недоразумения, да и немецкий его не улучшается.

И ко всему этому прибавляется переутомление от ежедневных двенадцати часов «за станком». Обычным фоном идет превозможание болезни, каких-то только ему известных тягостных состояний, о которых он нам никогда не говорит, но они есть постоянно, и мы знаем об этом, догадываемся, мучаемся вместе с ним.

Он пишет за столом, а я лежу в углу за шкафом на своей раскладушке (раскладушки здесь хороши — с матрасом, удобные), перечитываю «Записки из подполья». В круге света настольной лампы мне видно его худое лицо, впалые щеки, всклокоченные волосы. Иногда он вперяется взглядом в законную тьму, что-то беззвучно шепчет, видно, проговаривает завтрашнее выступление, и снова пишет.

Хоть бы удачно прошел этот семинар. Впрочем, он, наверное, мне толком и не расскажет. «Все в порядке». А если начну приставать: «Тебе этого не понять».

В общем-то меня это не обижает. Тем не менее традиционных доверительных отношений еще не старого отца со взрослым сыном не складывается. Трудно сказать, почему. В его любви и привязанности ко мне сомнений нет. Может быть, называется разность характеров, темпераментов, образа жизни. Возможно, его раздражает моя экспансивность, свойственная мне игра воображения. Сам он при всей своей нервности внешне сдержан, углублен в себя, немногословен.

Самое интересное, что я легко схожусь с людьми его возраста, легко общаюсь, дружу с ними. Мне даже кажется, что они тянутся ко мне. Так, во всяком случае, было в Москве в профессиональной среде, Единственный человек, с кем я могу провести вечер, не сказав ни единого слова, — мой сын. А может, и это следствие болезни? А может, это наша привычка списывать все особенности его характера на болезнь?

Когда-то у меня была нянька. Да, да, как это ни странно, у меня была своя Арина Родионовна — деревенская старуха, нянчившая меня в младенчестве и любившая всю жизнь. Она приехала в Москву из голодной деревни, мыла посуду в столовой, по-

том у нас (мать работала при троих детях), потом вышла замуж за пожилого вдовца и до конца своих дней приходила в наш дом посмотреть на меня, своих детей у нее не было.

Я был уже студентом, ночами готовился к экзаменам (помоему, все институтские науки и постигались этими предэкзаменационными ночами). Она садилась напротив, долго и безмолвно глядела, как я листаю страницы учебника, вздыхала и говорила лампадным голосом: «Ох, сыночек, трудная у тебя ученья».

Умирала она в больнице от застарелой болезни печени. Посмотрела на меня на прощанье: «Ох, как же до твоего сыночка дожить-то хочется, понянчить бы яво».

Нет ее на этом свете и никогда не будет. И помню ее только я, больше никому.

Мой друг, живущий в Потсдаме, называет меня Савельичем. «Ну, как там заячий тулупчик?» Это по телефону вместо приветствия.

Я лежу на своей койке и, отрываясь от Достоевского, смотрю, как он пишет, ероша другой рукой волосы.

Есть нечто безотчетное и глубинно верное в отборе книг, которые берешь с собой, переезжая из города в город.

В Москве пришлось делать большую селекцию — из нескольких тысяч томов, что копились всю жизнь, взять несколько сотен. Остальные раздать или поместить на хранение к родственникам. Это была ревизия духовной биографии. К чему-то интерес оказался потерянным, что-то оставалось в память прошлых страстей. Взятые с собой три-четыре сотни книг очерчивали мое нынешнее «я». Они разместились в ганноверской квартире на специально кушленных солидных черных полках.

Потом Ганновер стал тылом, жизнь проходила большей частью в Берлине. Комната небольшая, когда приезжает жена, превращается в спальный вагон. Книжный шкаф один — и для его научных книжек, словарей, и для моих. Взял с собой десятка полтора книг. Наверное, час стоял у полок, размышляя над тем,

что брать. Как в той игре: «А какие пять книг вы взяли бы с собой на необитаемый остров?» Отбирал по принципу «хочу — не хочу», по внутреннему голосу. Бердяева оставил, а Шестова взял.

Уж как много значил в моей жизни Бердяев! Помнится, в семидесятые собирались небольшой компанией, и после третьей рюмки кто-нибудь говорил: «Ну, давай свой конспект». И я доставал блокнот с изложением «Истоков русского коммунизма». Слушали, опьяняясь больше, чем от содержимого рюмок, куда тоже не забывали подливать.

Когда он начал выходить, покупал все, но читал уже меньше и без такого азарта. Вообще в перестроечное пятилетие читалось мало. Но покупалось, покупалось впрок, словно в предвидении Большого Чтения, Большого Осмысления, которое станет еще более необходимым, чем в прошлые времена, хотя и не тайно коллективным, а глубоко личным.

И вот теперь меня потянуло не к Бердяеву, а к его антиподу — Шестову, про которого хоть и говорят, что он всю жизнь писал одну книгу, но эту книгу я чувствовал своей.

Ясперс не взял, а Кьеркегора взял. Из тридцатитомника Достоевского взял только пятый том с «Записками из подполья». Почему? В тот момент я как-то не очень отдавал себе в этом отчет. И уж потом, сидя на своем берлинском «острове», понял смысл этого выбора. Ясперс с его холодным историзмом, с его «осевым временем» был мне в тот момент не близок. Занимал Кьеркегор с его Региной, которой так и не суждено было стать ему женой, с его ненавистью к «женатым пасторам», с отцом, который в отрочестве голодным измученным пастухом проклял Бога и всю жизнь страдал от этого. Отец был сумрачный городской богач, носивший в себе свою тайну. А сын — городской юридивый, издававший за собственный счет свои сочинения.

Сквозь тягучее старомодное многоумье этих сочинений проступают боль, страсть, тоска. Это философия, ставшая литературой. А Достоевский — литература, ставшая философией.

Надо же было осмелиться написать первую часть «Записок из подполья» в виде философского трактата. Он помещает своего чиновничка в тюрьму собственной личности, собственных

комплексов, которая и есть подполье, он ставит его в невозможные обстоятельства и заставляет бунтовать против них, оставляя свою, личность. «Ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтоб человек поминутно доказывал, что он человек, а не штифтик, хоть своими боками, да доказывал, хоть троглодитством, да доказывал».

Он пишет: «...а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти», не зная, что умерший за десять лет перед тем в Копенгагене другой «человек из подполья» в своих сочинениях, где он и писатель, и герой, сделал тот же поворот философской мысли — от Аристотеля и Гегеля к Писанию и Богу, от Разума и Необходимости к Вере, от общего к личному. А еще семьдесят лет спустя третий философ в своем парижском изгнании, толкуя их обоих, напишет свою книгу вызова Необходимости. И, сидя на своем берлинском острове, я вместе с ними говорю: «Что мне в истине, если она меня насилует и убивает, если она жестока, страшна и посылает „жало в плоть“».

Это поразительный кьеркегоровский образ — жало в плоть. «Что касается меня, то с юных лет мне было ниспослано жало в плоть. Не будь этого, я бы уже давно жил обыкновенной жизнью». Стал бы «женатым пастором»?

Он не мог спать с женщиной, это было его жало в плоть. Диабет не отнимает этой способности, но он тоже жало в плоть, он не дает человеку жить обыкновенной жизнью.

## ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА ТАТЬЯНА

Так, к Татьяне, к ее появлению в нашем растоптанном сумрачном доме.

Кустодиевской мадонной она сидела над распластанным на диване обнаженным телом нашего ребенка и осторожно водила то пальцами, то иголкой, не прикасаясь к этой худой детской плоти, а словно замирая в какие-то мгновения, словно прислушиваясь к чему-то только ей слышимому.

Ее появлению предшествовала легенда о больной девочке с московской окраины, отец которой познакомился с йогом-

индийцем из посольства, ставшим ее гуру, вылечившим, передавшим знания и даже потом, отправившись к себе в Индию, каким-то образом направлявшим ее лечебную деятельность.

Все это было странно, но нам сказали, как обычно говорят в таких случаях: «Хуже не будет. Попробуйте. Кого-то она вылечила. Впрочем, может, она и сама не возьмется. Не всегда берется».

Но она взялась. Она сказала, что попробует вылечить диабет. Если бы она сказала это пять лет спустя, мы бы отринули ее, не размышляя.

Слова «лечит диабет» звучат для нас сейчас как кощунство. Случай излечения инсулинозависимого диабета стал бы мировой сенсацией, пусть он даже был бы единственным.

Можно понизить потребность в инсулине, можно улучшить общее состояние больного, найдя равновесие между гипогликемией и гипергликемией, можно вживить в тело механизм автоматической подачи инсулина, можно в самом крайнем случае пересадить клетки здорового человека, которые будут какое-то время вырабатывать инсулин. Но восстановить утраченную способность вырабатывать этот гормон так, как поджелудочная железа это делала в ритме, гениально выработанном Природой, — такому целителю поставили бы памятник при жизни.

Она излучала уверенность и здоровье. «Мой облик — лучшая реклама моей деятельности».

Все ее рекомендации видятся нам сейчас в ином свете, но тогда... До Москвы тогда еще не дошла шелтоновская диета, и она излагала ее принципы — углеводы и белки отдельно, мясо только с овощами... — как откровение.

Мало кто знал тогда, что такое гимнастика йогов. Йоги воспринимались как фокусники, ходящие по горячим угольям. Она переодевалась в тренировочный костюм и закрывалась с нашим мальчиком в комнате, отрабатывая дыхание, показывая эти экзотические упражнения. Делать гимнастику надо было в полной сосредоточенности. И впоследствии мы никогда не заходили в его комнату утром, понимая, что здесь не просто физкультура, но и своего рода медитация.

Иногда бывало, что я случайно открывал дверь и заставал его в какой-нибудь диковинной позе, скажем, стоит на руках, а тело — параллельно полу. Мышцы рельефно прорисованы, впалые щеки, потемневшая от пота кожа — он выглядел как йог на картинке.

Надо сказать, что если что и осталось от нашего долгого романа с Татьяной, то это его физическая тренированность, которую он мог приобрести только долгими и одинокими упражнениями, так как обычные спортивные игры ему были запрещены, любая травма могла стать губительной. Йога, а он долгие годы ежедневно посвящал ей около часа по утрам, дала стройность, осанку, прямые широкие плечи, слой мышц — то есть сознание хотя бы внешней полноценности.

Но начало этого романа было бурным и страстным. После первых же недель упражнений и новой диеты у него начала падать потребность в инсулине.

Тогда еще не было домашних глюкометров, содержание сахара в крови определяли только в поликлинике, в лаборатории, а ежедневно оставалось делать лишь анализ мочи, достаточно приблизительный. Но даже и его производили не с помощью бумажных полосок (бросил в унитаз, посмотрел, как изменился цвет полоски, определил, есть сахар или нет), что пришло позднее, а с помощью таблеток, помещаемых в пробирку с мочой и также менявших цвет в зависимости от содержания сахара. Жена делала это ежедневно, радуясь, если содержимое пробирки становилось голубым, и огорчаясь, если бурым. В голубые дни она понемногу снижала дозу и, если пробирка не темнела, осторожно продолжала это делать.

И вот наступили дни нашей Надежды. Я уже по просветленному выражению лица жены, когда она выходила из ванной, где была оборудована наша домашняя лаборатория, понимал, что день сегодня голубой и на одну-две единицы дозу инсулина можно снизить. Потом следовал звонок Татьяны, шло обсуждение ситуации, чем и как питаться, какие упражнения делать (тут уж к телефону подзывался сын) — словом, «подпольный обком действовал». Действовал он по утрам, и, уходя на работу, идучи пешком к себе в редакцию по Большой Вятской ули-

це, я предавался мечтам о том, какая будет жизнь, когда все это кончится.

Вообще-то впоследствии мы запрещали себе всякие разговоры на тему, что было бы, если бы это кончилось, запрещали себе думать, мечтать. Злились на того из нас, кто по слабости характера мог хоть на минуту предаться таким мечтам (чаще всего то был я) — не надо, зачем, к чему, что ты делаешь... И так ведь постоянно болело, а эти мысли как соль на рану, как наркотик, от которого опоминаешься с мученьем, с ломкой. Зачем выходить за пределы Необходимости, которая очертила вокруг нас свой круг? Но в первое время мы еще не привыкли к этому «дважды два», к этой каменной стене. Она не казалась такой грозной и непреодолимой. Вера и Надежда бушевали в нас, грели и пьянили, не делали столь суровыми и замкнутыми, как впоследствии.

Я шел по Большой Вятской вдоль пахнувших тяжелым и сладким мыльным дурманом заборов парфюмерной фабрики, вдоль тусклых кирпичных строений, которые сменялись многоэтажными блочно-панельными домами издательства «Правда», пересекал Нижнюю Масловку, вливаясь в толпу таких же, как я, пролетариев советских масс-медиа с портфельчиками и папочками под мышкой, в солидных пальто и шапках, среди которых попадались не только кролик, но и нередко ондатра, пыжик. Я был неотличим от них, разве что мечты и надежды у меня были свои, отдельные.

Впрочем, недолго им было жить, этим надеждам. Когда до заветной нулевой дозы оставалось лишь несколько единиц, пробирка окрасилась в бурый цвет, и все пошло вспять. Предсказание Мюды начало сбываться. Татьяна искала этому объяснения, как водится, обвиняла нас в неточном следовании ее рекомендациям, а мы были так убиты, что и не думали оправдываться.

Годы спустя мы легко нашли объяснение этому несостоявшемуся чуду. Увеличение физической нагрузки, которую дала йогическая гимнастика, обязательно способствует снижению потребности в инсулине. И недаром сын, уже будучи взрослым человеком, вырабатывая свою систему, решал задачу соотно-

шения объема и качества еды, физической и нервной нагрузки и дозы инсулина. В том первом эксперименте все сработало четко: как только организм привык к новой физической нагрузке, он вернулся к потребности в прежних дозах.

Но наша целительница и не думала отступить. Пришел период иглотерапии. В доме появилась толстенная самиздатская книга, в предисловии к которой авторы — китайские специалисты — писали, что они представляют тысячелетний опыт национальной народной медицины и рассчитывают, что современная европейская наука объяснит механизм ее действия. Мне такой подход показался честным и здравым. Пользуемся, мол, этими приемами с успехом тысячу лет, а вот как это у нас получается, знать не знаем, и хорошо бы, чтобы вы нам объяснили.

Теперь дом превратился в лабораторию восточной медицины. На стене висел огромный плакат с контурами человека и обозначением точек, воздействие на которые влияло на те или иные органы. В эти точки надо было вводить иглы, а также прогревать их полынными сигарами, изготовление коих поручалось мне. Я покупал в аптеке пачки полыни (слава Богу, ее-то тогда в продаже хватало), перемалывал сухую траву на мясорубке, клеил из бумаги трубочки и набивал их этим пахучим порошком. Затем сигара поджигалась, испуская горький дым, и сначала Татьяна, а потом и жена горящим кончиком водила над определенными участками тела сына. Простуду это снимало неплохо, если греть нос и горло, а что касается воздействия на поджелудочную железу, тут сказать трудно.

Жена со временем так наострилась в этой полынной терапии, что начала пользоваться детей наших друзей, снимая таким способом простуду.

Вообще, Татьяна охотно приучала своих клиентов к самолечению по так называемой ланкастерской методе, описанной, кажется, Диккенсом, когда учитель обучает старшего ученика, а уж тот передает знания остальным. Я пугался, когда сын с ловкостью фокусника ввинчивал иголку себе в пятку, а потом лежал как ежик, с торчащими остриями. Они-то с матерью убеждали меня, что ничего страшного в этом нет, он точно зна-

ет, как и куда ввинчивать, но в том же самиздатском пособии было написано, что неудачно введенная игла может стать причиной серьезной травмы.

Иглы у нас вскоре появились свои. Тут уж сработала Семья. Она была велика, и на периферии ее оказывались самые разные люди. Так, например, имелся довольно преуспевший к тому времени дипломат, работавший советником посольства в Пекине. Познакомились-то мы с ним, когда он студентом Военного института иностранных языков снимал у нас комнату. Это был худощавый, белобрысый, сдержанный парень родом откуда-то из Красноярского края. Он с фанатичным упорством учил китайский язык, издавая из своей комнаты странные мяукающие звуки.

Когда отец вернулся из ссылки, мама устроила жильца на квартиру к своей старинной приятельнице, у которой имелась дочка — моя сверстница и подружка детства. Роман постояльца-студента и хозяйской дочки не заставил себя ждать. А вскоре наш сибиряк попал в референтуру ЦК, оттуда в МИД, и вот уже моя подруга детства стала посольской дамой, советницей в Пекине, потом первой леди амбассады в Сингапуре, Куала-Лумпуре...

Иглы их превосходительства прислали нам сразу же, как только получили письмо. И какие — серебряные, изящные, тонко и точно сработанные. Татьяна просто обомлела, увидев их, и скоро таки заиграла, взяла попользоваться и не отдала. Да нам и не жалко было. Нам для нее вообще ничего не жалко было. Наша Надежда была так велика и мучительно остра, что она преображала представления об этой женщине, заставляла видеть ее в каком-то ином свете. Я прекрасно видел все человеческое, что ей было присуще, — мелкие слабости, поверхностность знаний, хвастовство. Она говорила, что нельзя брать подарки, и не могла отказаться, когда я предлагал ей красивую дорогую книгу. Она порой излагала нам содержание научно-популярной заметки, выдавая ее как очередной глубокомысленный совет. Она говорила о йоге как о философии жизни, но мы видели ее суетность. Мы видели и не хотели видеть. Это было какое-то странное двойное зрение, сознательный самообман.

Мы думали, что она даст нашему ребенку не просто восточную гимнастику, но и те знания и мироощущение, которые все-таки, мы полагали, у нее есть. Знание, что ей передал тот самый индеец, который был ее гуру и оставался им каким-то образом и на расстоянии. Она должна была стать духовной учительницей нашего ребенка. И всего плотского, мелкого в ней мы не хотели видеть, полагая, что все это то самое человеческое, что свойственно каждому.

Как-то мой приятель, опытный потаскун, встретив ее у нас, восхищенно покрутил головой и зацокал языком: «От это баба. Я бы ее...» И я, будучи уже немолодым, выдавшим жизнь мужиком, возмутился, как институтка: «Ты с ума сошел, да как ты можешь...» Конечно же, он был прав: она была баба как баба и к тому же замужем за человеком намного старше ее, не чуждая кокетству и, по всей видимости, адюльтеру. Но для меня-то она была частью нашей драмы, возможной наставницей сына, его духовной водительницей. Я не хотел видеть и знать ее плотской сути.

Я и сейчас думаю: что-то незаурядное в ней было, какой-то свет, какое-то интуитивное знание, но потом это стало пропадать. Она стала светнее, больше начала брать за визиты, клиентура расширилась (наверное, и не без нашей помощи), больше стало мелкой лживости, апломба, саморекламы. Как-то она призналась, что ее гуру умер и она осиротела без его наставничества. Может, и так. Она ушла из нашей жизни, оставив сыну йогу, которой он занимался долгие годы. И мы вспоминаем о ней с благодарностью.

## ПЛЕБЕЙСКИЙ ДУХ МАТЕРИАЛИЗМА

С уходом Татьяны наши надежды не исчезли. Ведь мы были так близки к нулевой отметке. Казалось, еще чуть-чуть, еще несколько голубых дней и — свободны, свободны! — железа заработает, начнет выдавать инсулин в нормальном режиме, и долой уколы, диеты, страхи.

Мне даже во сне виделась эта поджелудочная. Я понятия

не имел, как она выглядит на самом деле. Но во сне она была гладкой, покрытой нежной трепещущей пленкой, под которой шла особая таинственная жизнь — вырабатывался панкреатический сок, глюкогон. Где-то там в глубине утнезвился участок, ответственный за выработку инсулина, — островок Лангерганса. Он перестал пульсировать, омертвел, и вот теперь должен был воскреснуть, зажить прежней жизнью. Должен, должен...

Это были странные смутные сны, даже и не сны, а какое-то пограничное состояние, когда мысль, образ то уходит в подсознание, то выныривает из небытия.

Теперь мы делали ставку на мумие — черную вязкую смолу, которую добывали в горных скалах и считали сложным минеральным соединением, обладающим чудодейственными свойствами. Ее использовали, в основном, при переломах костей, принимали внутрь микродозами, ускоряя сращивание, но нас уверяли, что и диабетикам она полезна.

Вместе с мумие в наш дом вошел Филонов. Это был высокий статный детина с глазами прозрачной голубизны. Такая прозрачная ясность глаз бывает у алкоголиков, не вульгарных спляных пьяниц, а у тех, кто уходит в запой, как в астрал, в освобождение от всего мирского и суетного.

Однажды я был свидетелем такого его запоя. Он расхаживал по комнате, что-то бормоча и жестикулируя, время от времени с брезгливым содроганием отпивая водку из стакана. Это продолжалось, судя по всему, несколько дней. Количество полных и пустых бутылок, стоявших на полу по углам, не поддавалось исчислению.

Мое появление не вызвало у него особого интереса, возможно, я казался ему частью его видений.

Он вообще все делал запойно. Уезжал в геологические экспедиции, где с ним всегда что-то случалось — умирал, голодал, блуждал по тайге, дрался до полусмерти. Так же запойно он писал потом свои северные романтические повести, по месяцу не выходя из дома. Когда я однажды назвал его прозу джек-лондоновской, он смертельно обиделся и, кажется, едва ли не прервал наши отношения. Он дружил и ссорился с писателями, ходил по редакциям, мучил всех своими фантастически-

ми таежными байками. Потом исчезал из Москвы на полгода, вернувшись, привозил всякие минералы, полудрагоценные камни, целебные травы и мумии.

Однажды его посадили. За попытку продажи огромных размеров изумруда. Кажется, это был самый большой из существующих на тот момент изумрудов. Он бегал с ним по Москве, показывал его и мне, но я не обратил на этот камень внимания, необработанным он выглядел непрезентабельно, да и в филоновских рассказах трудно было отделить правду от вымысла. В конце концов, ему подставили провокатора, арестовали при сделке и присудили несколько лет «химии». «Химия» оказалась строительством консервного завода в Ярославской области, куда я поехал по его просьбе «помахать ксивой», что должно было способствовать улучшению его отношений с охраной. После освобождения он запил, прибегал за пятеркой на опохмел, стал агрессивным, и связь наша прервалась. Много лет спустя, в середине девяностых, узналось, что он разбогател, сумел обольстить литературного мэтра, возглавлявшего один из первых российских журналов, и, пообещав ему решение финансовых проблем, стал на какое-то время едва ли не хозяином издания. Кого-то увольнял, кого-то брал на работу, со старыми друзьями холоден, словом, крутой «новый русский». Впрочем, все это были слухи, пересказы каких-то историй. Услышав их, я подумал, что, возможно, этот человек, как и Татьяна, соприкоснулся с нашей бедой в свой нравственно лучший период — время доброты и открытости, а потом в нем, как и в ней, что-то сломалось, и он стал другим.

Незадолго перед отъездом в наш дом пришел его сын от давнего первого брака и сказал, что Филонов умер. Сын был совсем не похож на отца — полноватый, неулыбчивый, сосредоточенный на своих мыслях. Филоновская страстность проявилась у него в исканиях религиозных. Вместе с другом моего сына они жили в православном монастыре в Мюнхене, но, не выдержав искуса, вернулись в Россию, в мирскую жизнь. Впрочем, он и в России вел в сущности монашеское существование, работал сторожем в Подмосковье на каком-то затерянном среди полей складе. Жил там неделями, читал Библию, писал сложную прозу.

Все это каким-то странным образом перекликалось с моим сюжетом, заставляя вспомнить, что тот же Филонов познакомил нас в свое время с неким экстрасенсом. Этот экстрасенс в миру был врачом-психотерапевтом, работавшим со спортсменами. Общение с ним каждый раз приводило к снижению сахара у сына. Сначала это поразило нас, но потом стало привычным. Он ухитрялся добиваться сахаропонижающего эффекта даже по телефону. Мы измеряли содержание сахара в моче до разговора и после него. Цвет менялся от бурого к голубому. Но то был в сущности бесполезный фокус; общение прекращалось, и все оставалось по-прежнему.

Экстрасенс меж тем высказал взволновавшую нас мысль. Он посоветовал поставить мальчика под защиту какой-нибудь религии, пройти обряд посвящения. Какой религии — неважно. Лишь бы сделать это до пятнадцати лет. Потом будет поздно.

Мы с женой тяжело задумались. Это соответствовало нашим давним намерениям дать ему какую-то духовную опору в новой ситуации, отъединяющей его от обычной жизни. Собственно, и в Татьяне мы хотели видеть гуру, а не только физкультурного тренера и телесного целителя. К сожалению, из этого ничего не вышло, в мир йогической мудрости она его не ввела, не могла ввести.

А вот религия с ее ритуалом и обрядами, которые я всегда воспринимал как своего рода костыли, с их помощью человек помогает себе ступить на дорогу общения с самим собой и, в конечном счете, с Вечным Началом? Надо ли входить в этот мир без Веры, рассчитывая на ее приход?

Будучи «нашпигован плебейским духом материализма» с его ощущением Черного Ничто, я всегда остро завидовал людям, обладающим Верой, и понимал, что она может достаться как некий дар без всякого усилия со стороны человека (вот есть она, и все!) или путем долгой и мучительной духовной работы, когда дар этот — в конце пути, да еще неизвестно, придет он или нет, даст ли ощущение слияния с Вечным Началом.

Вера из страха перед Черным Ничто? Это худо. Вера из стремления приобщиться к национальным истокам? Ведь



обряд стал скорее знаком национального единения, чем дорогой к Богу. Тоже плохо.

И потом, какая все-таки религия? Этому экстрасенсу хорошо говорить — все равно какая. Мне-то не все равно. Православие, близкое нам по культуре и окружению? Но в крещении виделось предательство предков, уход от своей внутренней этнической сущности. Иудаизм? Но здесь совсем иная культура, язык, да и как ввести его, больного, в узкую среду, которая заставит противостоять всему окружающему миру, ежедневно нести удвоившуюся от приобщения к религии еврейскую ношу.

Наша приятельница, дружившая с отцом Менем, предложила встретиться с ним, посоветоваться, привести к нему мальчика. Но обращение к православному священнику, пусть даже такому свободомыслящему, означало бы уже сделанный выбор. Да и что мне скажет Мень? Это мой ребенок, и я могу ему дать только то, что имею сам.

Много раз в последующей жизни я с горечью отмечал в нем жесткое рациональное мышление, которое с одной стороны — благо, а с другой — обделение себя, сужение духовной жизни. И лишь в последние предэмигрантские годы, когда и он прошел уже немалую часть своего нелегкого жизненного пути, стало подмечаться по читаемым книгам, по репликам, что идет в нем какая-то трудная потаенная работа. И, может быть, это его путь к Вере?

## НАШ ДРУГ РАМАЗАН

— Ну, как ты думаешь, какой он?  
— Не знаю.

— Ну, все же? Большой — маленький, толстый — худой?

— Не знаю.

— Эх, какой ты. Что ж, у тебя воображения вовсе нет?

— А у тебя есть? Ну, скажи, какой он?

— Знаешь, наверное, маленький, худой, нервный, самолюбивый. Туфли у него на толстенной подошве, да еще каблук высокий, чтобы казаться выше. Волосы взбиты, уложены, как

напомаженный. И говорит вежливо и высокопарно. Такой кавказский провинциальный интеллигент.

Его глаза веселеют, из них уходит обычное выражение отрешенности и самоуглубленности.

— Посмотрим, какой ты предсказатель.

Летний воскресный вечер. Середина семидесятых. Сейчас это время кажется глухим, остановившимся, словно покрытым серой мглой. И в этой мгле — подсвеченное воспоминанием пятно, в котором мы с ним — сорокалетний мужчина и тринадцатилетний мальчик — стоим на троллейбусной остановке и ждем гостя.

За месяц перед тем ко мне в редакции зашел приятель из отдела писем и положил на стол конверт: «Это, наверное, для тебя». Приятель был из посвященных.

То была вечная проблема — насколько расширять круг посвященных в наши дела. С одной стороны, хотелось забиться в свой угол, никому ничего не рассказывать, тем более, что и объяснить драматизм ситуации было невозможно. «Ну, а в чем, собственно, болезнь, укололся и гуляй себе. Смотри, какой он у вас стройный, красивый — девки, наверное, заглядываются». О тяготах его состояний — гипергликемии и гипогликемии, постоянной борьбе с собственным организмом, которую он ведет изо дня в день, страхе комы, сопутствующих болезнях, среди которых неизбежны сосудистые, и вечный наш ужас — возможная слепота — говорить не хотелось. Понять это мог или врач, да и то эндокринолог, или товарищ по несчастью. Среди здоровых людей мы были одиноки, как одинок всякий инвалид.

Но и не говорить было нельзя. Так много нам надо всего доставать, узнавать, так много неожиданных потребностей возникало, что без круга сочувствующих сердобольных друзей не обойтись. И, собственно, вся эта повесть — о мире, который нам открыл диабет, и о людях, населяющих этот мир.

В конверте было письмо из Махачкалы, в котором содержался рассказ о враче, лечащем диабет. На двери его кабинета в первой городской поликлинике написано: «Здесь обходятся без инсулина». Дальше следовала история об открытии, кото-

рое сделал геронтолог и эндокринолог Рамазан Шамхалович Алиев. Наблюдая за жизнью горных долгожителей, он обратил внимание, что старики здесь никогда не болеют диабетом. Знал он и другое: вместо чая в селах употребляют настой горного шиповника. Сопоставив два факта, Алиев открыл сахаропонижающие свойства этого растения, разработал способ приготовления отвара и теперь лечит им больных.

Мы и так и сяк перечитывали это письмо, пытаясь угадать, что стоит за ним. Писал, судя по апологетическому тону, один из пациентов Алиева, стремящийся тем самым отблагодарить врача. Значит, есть за что благодарить, с другой стороны, смущала самонадеянная надпись: «Здесь обходятся без инсулина». Пожилым людям чаще всего инсулин и не нужен, они сидят на таблетках. Если же он и при инсулинозависимом диабете использует настой горного шиповника взамен инъекций, то это настоящее открытие, и, как специалист, он должен сообщать о нем, уж во всяком случае, не через газету устами полуграмотных больных.

Впрочем, использование сахаропонижающего свойства какого-либо продукта отнюдь не означает излечения, поджелудочная железа инсулин все равно не вырабатывает. Это мы тогда уже понимали. И все же мучительно сладкое «А вдруг...», то, о чем мы запрещали себе говорить и думать, зажило, заньло внутри. Тут же написали письмо со значением: слышали о вашем методе, очень заинтересованы, а сами мы — журналист из всесоюзной газеты и работник системы Госкомитета по делам изобретений и открытий (информационный институт жены входил в эту систему), так что читай и думай, Алиев, может, тебе стоит помочь таким людям, мол, в случае чего найдем, чем отслужить.

Ответ пришел довольно быстро. Наш кавказский доктор общал, что едет в Киев на съезд геронтологов, будет проездом в Москве и готов встретиться. А еще неделю спустя позвонил из гостиницы «Балчуг» и согласился прийти в дом.

Тут же вихрем: чем угостить, как принять?

— Ну, что там они едят? Ты же наездился по кавказам.

— Шашлык-машлык, зелень-мелень.

— Сделаем табака. Они у меня получаются. Достать бы хороших цыплят. А за тобой зелень. И спиртное.

На Центральном рынке под жгучими взглядами из-под кепок-аэродромов отбираю петрушку, укроп, кинзу. По пучочку, по два — мокрые и оттого кажущиеся свежими, безумно дорогие. В Столешниковом, в знаменитом винном магазине, выстояв длинный хвост, покупаю какую-то диковинную водку. Впрочем, возможно, вся ее диковинность в наклейке. В то время каждая область в попытках регионального самовыражения выпускала свое сорокоградусное зелье, в наклейке которого отражались местные патриотические мотивы — «Старокиевская», «Беловежская». Когда я однажды в одном областном застолье позволил себе вспомнить Щедрина («Стоят бочки с обыкновенным астраханским чихирем, идет купец: плюнул в бочку два раза — цвай-мадера, плюнул три раза — драй-мадера, а уж если четыре раза — финь-шампань»), мои чиновные застольцы, приняв все всерьез, обиделись: «Что вы, у нас не так».

К диковинной столешниковой водке я присовокупил бутылку дагестанского коньяка, чтоб не скучал гость без родного напитка, и бутылку своего любимого «Мукузани». Этого, казалось мне, больше чем достаточно.

И вот пока принаряженная, покрасневшая от жара плиты и волнения жена суетится на кухне, мы с сыном гуляем у троллейбусной остановки, упражняя свое воображение в придумывании образа, навеянного фильмами Данелии и романами Искандера.

— Почему ты думаешь, что он маленький, худой и самолюбивый? — включается в игру сын.

— Он провинциальный изобретатель, он не признан, рвется в столицу, ему все осточертело, ему хочется быть большим, сильным, удачливым. Он непризнанный гений, трудно быть непризнанным гением. И, наверное, из местных интеллигентов, а возможно, и из аристократов. Знаешь, что значит Шамхал? Что-то вроде князя.

Тяжелая рука ложится сзади на мое плечо. Оборачиваюсь. Господи помилуй, какой амбал! Большой, костистый, тяжелый, коротко стриженный и уже немолодой, голова посыпана со-

лю. Где там паренье и провинциальный пафос данелиевских героев? Стоит на земле прочно, медлителен, немногословен. Голос низкий, гортанный.

Жена встречает нас взволнованно, испытующе. И в этом волнении, этом лучшем платье, с которого только что снят фартук, в сердечной милоте, с которой встречается гость, — все то же: Надежда.

А гость важен, гость значителен, гость при исполнении. Осматривает, расспрашивает сына. Достает узелок, тряпицу, в которую завернута горсть сухих, темно-красных, почти коричневых ягод. Дает рецепт приготовления, слепо, с ошибками напечатанный на машинке. Варить, отжимать, пропускать через мясорубку, толочь в ступке, снова отжимать и пить.

Потом начинается застолье, полное узнавания, многозначительных наших с женой переглядываний и его низкоголосых медлительных монологов. Он пьет водку, оставив без внимания коньяк и распластанного на блюде цыпленка, почти не ест, разве что отщипывает стебелек петрушки или кинзы. И по мере опустошения бутылки голос его звучит все увереннее, речь раскованнее, акцент временами пропадает и сквозь простодушное провинциальное хвастовство проступают жутковатые подробности тамошней жизни.

«Я аварец? Ну за что на свэте. Я лакец. Знаешь, кто такие лакцы? У-умные, хыстрые, как эвр-рэи». Похоже, что это аллаверды нам, так сказать, комплимент хозяину дома. «Моя мать была дояркой. Простой дояркой. Знаменитой дояркой. На съезде колхозников она была сфотографирована с Молотовым». Он лезет в боковой карман, перебирает пачку бумаг и находит старую фотографию. То ли всегда ее с собой носит, то ли к встрече с нами готовился? На фотографии какие-то горские люди в черкесках, в центре маленькая крестьянка в черном платке, а рядом — да-да, Молотов, худощавый, пенсне, с обычным своим наглухо застегнутым лицом.

— Выдышь? — Он ждет реакции. И мы выражаем наши восторга. Как есть Молотов, и он сам похож на мать. Это замечательно — иметь такую фотографию. Он театрально растроган, выгибает лоб, отпивает водку из бокала, как нервные люди пьют воду.

«Я был председателем обкома союза работников здравоохранения. И был бы министром, да не стал. Из-за брата. Брат тоже врач. Сидел в гостях, ну знаешь, выпил, закусил, все как положено. А тут к больному вызывают. Сделал укол, воздух в кровеносный сосуд попал, такой, знаешь, маленький пузырек. Эмболия. Больной умер. Брата судить надо. Брата спас. Министром не стал».

Что такое эмболия, мы знали. Нас еще в больнице предупреждали, обучая уколам: «Избави Бог, пузырек воздуха в шприце окажется, закупорит сосуд — смерть». Так, значит, его милый братец спьяну убил больного. Хорошие дела.

— Я кандидат медицинских наук. Не вэришь?

— Верим, верим, — говорим мы хором.

— Нет, ты диплом посмотри, — с пьяным упорством настаивает он и достает все из того же бокового кармана несколько подзасаленные корочки — диплом кандидата наук.

— Какая же была тема вашей диссертации? — робко спрашивает жена.

— История медицины Дагестана от палеолита до наших дней.

— Как от палеолита, — не выдерживаю я. — Да с каких же пор можно исчислять начало медицины на территории Советского Союза?

— Вот-вот, я так им и сказал, пускай русские историки ищут начало своей медицины, а мы, горские народы, исчисляем ее от палеолита.

— А защищались где?

— В Москве. В Институте истории медицины.

И начался рассказ о рукописи объемом ни много ни мало в семьсот страниц, которую даже не захотели рассматривать. И как он выбрал момент для ответного удара. На съезде профсоюзов подошел к директору института, представился и сказал, что хочет выступить «на тэму об отношении некоторых институтов к представителям малых горских народов».

Знал, знал наш друг Рамазан, чем угрожал. Недооценка национальной науки — это ярлык, иди потом отмывайся, директор, рассказывай, что там графоманская чушь — от палеолита

до наших дней. Не отмоешься. Конечно, он сломался. Взял нашего джигита под локоток, участливо расспрашивал о жизни республики, о его работе, пообещал рассмотреть рукопись в течение двух недель, но, конечно, если она будет доведена до приемлемых размеров — страниц эдак до ста.

— Он думал меня этим взять. Нэ захочу переделывать. Но я нанял трех машинисток, тут же в Москве все переделал и отнес им сто страниц. Куда им было деваться? Защиьтылся.

Мрачно улыбнувшись, глотнул из стакана. Это было славное воспоминание. Победил, перехитрил, настоял на своем. Самое приятное, говаривал кавказский человек товарищ Сталин, уничтожить врага, а потом выпить стакан вина.

Увидев тоску в глазах жены, я переменял тему разговора.

— А жена у вас кем работает?

— Жена у меня, — эпически начал он очередной монолог, — даргинка. Я лакец, она даргинка. Но не в том, понимаешь, дело, что она даргинка. А в том, что я кандидат наук, а она безграмотная полугорянка.

Как точно определил, однако, географическую принадлежность жены. Впоследствии я узнал, что даргинцы живут в предгорьях. Вот и выходило — полугорянка.

— Устроил я ее администратором в отель «Дагестан». Сутки работает, двое — дома. Думал, дом будет в порядке, дети присмотрены. Ко мне часто гости приезжают с гор. У нас, знаешь, день ли, ночь ли — гость приехал — на стол накрывай. Бывает, ночью приедут, а она спыт, как корова.

— Может, устала. Сутки все-таки отработала, — вмешалась жена.

— Что значит устала. Гость в доме. — И сокрушенно повторил: — Спыт, как корова.

Потом, уже поздно ночью, когда мы мыли на кухне посуду, жена сказала:

— А он не сознавал всего ужаса того, что он нам рассказывал. Ведь он в сущности шантажировал директора института.

— Это для тебя шантаж, а для него обыкновенная мужская хитрость.

На следующий день отварили подаренный шиповник. Настой получился густой, терпкий, крепкий, ничего общего с тем бледным отваром, который дают купленные на базаре обыкновенные ягоды. И снова поглубели наши дни, как во времена Татьяны. Ненадолго, правда, и до нулевой отметки оставалось далеко, но то, что этот настой имел явные сахаропонижающие свойства, не говоря уж о витаминозных общеукрепляющих, было очевидно. И еще неделя прошла в новых наших утешениях — мыть, варить, жать темные крупные ягоды, поить сына отваром, измерять сахар в моче, радоваться голубому цвету в пробирке.

В субботу поехали к матери на дачу. Вернулись вечером, как всегда охмелевшие от воздуха; уставшие от неблизкой дороги. Распахнули окна, улеглись под шелест начавшегося дождя. В двенадцатом часу — звонок. Прошлепал босиком в переднюю к телефону. В трубке — бойкий тенорок. Фамилию мою произносит с трудом, судя по всему, читает по бумажке.

— Тут у нас у клиента одного неприятности, так он ваш телефон дал, может, вы поможете. И человек-то вроде уважаемый, кандидат наук, документ показывал, не хотелось бы его в милицию...

— Да кто вы?

— Из ресторана я, метрдотель. Я говорю, клиент тут у нас...

Хоть и со сна, но понял я все мгновенно и, более того, вообразил себе эту картину, этого надравшегося нашего целителя, что сидит там кукует в каком-то кабаке без копейки. Ну, кто еще мог показывать свой диплом «кандыдата наук» да еще мой телефон дать?

— Какой ресторан?

— «Иверия». За городом, в Голицыне. Знаете?

— Знаю.

Совсем недавно на правлении Центросоюза, где я по долгу газетной службы высиживал часами, председатель Климов, с трудом ворочая языком (они все будто перенимали брежневское косноязычие), как отрицательный пример работы кооператоров приводил Московский облпотребсоюз, который вме-

сто того, чтобы улучшить торговлю на селе, открыл в Голицыне роскошный ночной ресторан, куда, как на Западе, съезжается всякий нездоровый элемент. Я думал, что после такого климовского выступления эту самую «Иверию» закрыли.

— А вас не закрыли разве? — спрашиваю мэтра. Вопрос, конечно, дурацкий.

— С чего бы это? Да вы приезжайте, увидите.

— Еду.

В темноте спальни сонный голос жены:

— Кто это?

— Сколько у нас денег с получки осталось?

— Каких денег? Зачем тебе ночью деньги?

— Рамазан загулял. Сидит без копейки в кабаке. Надо ехать, выручать.

— Ты с ума сошел. Куда ты поедешь ночью, в дождь. Да и с какой стати нам оплачивать его пьянки?

— Послушай. Я не пьяного дурака этого выручаю, я ребенка нашего выручаю. — И мотаю головой в сторону соседней комнаты, откуда из приоткрытой двери доносится сонное дыхание сына. Но она уже взяла себя в руки.

— В твоём письменном столе, в ящике и у меня в сумке. Посчитай.

Считаю. Восемьдесят рублей. А если он на сотню нагулял, кто его знает с их кавказской широтой? В случае чего паспорт оставлю, завтра соберу и привезу.

Под проливным дождем мечусь на пустом темном перекрестке, провожая воздетыми к небу руками изредка проскакивающие машины.

— Куда? В Голицыно? Не ближний свет. Ну, разве если с оплатой в оба конца.

В Голицыне прямо у шоссе — сияющий окнами ресторанный фасад, вереница «Волг», вкраплениями — иномарки. Полуголые девки в норковых накидках, крутые вальжные мужики. «Нездоровый элемент» гулял здорово, жил кинематографической ночной жизнью.

Мэтр — щуплый белобрысый мужичок — рязанской скороговоркой объяснил ситуацию.

— Понимаете, пришел с двумя телками, напился, они его обобрали и смылись. Ну, что нам его, в милицию?

— Сколько?

Он оценивающе посмотрел на меня. Вздохнул.

— Ну, кое-что у него оставалось. А так полста.

У меня отлегло. Полста — это еще по-божески.

Наш Рамазан спал богатырским сном в кабинете мэтра. Храп был слышен в коридоре. Вдвоем с моим ресторанным благодетелем откачивали его, терли уши, лили воду. Сел, потирая ладонью, мокрое лицо.

— А-а, друг.

В такси снова заснул. С трудом растолкал его у гостиницы, сунул десятку, довел до номера. С утра — звонок.

— Приходи. Поговорить надо. Ты друг, мужчина. Жду тебя.

— Ведь он теперь доить нас начнет, — взвилась жена. — Нельзя тебе к нему идти. Он запил, загулял. Ехать никуда не хочет. Заведет вольнку на счет мужской дружбы. Начнет снова деньги просить. Тебе трудно будет ему отказать. Я сама к нему пойду.

— Ты?

— Да, я.

— И что ты ему скажешь?

— А вот узнаешь. Ты, главное, на работе скажи, чтобы тебя к телефону не подзывали. Остальное я беру на себя.

Такой решительной и жесткой я ее не помнил. Впрочем, мы изменились все трое.

Вечером она изображала эту встречу «в цветах и красках». Он валялся на кровати многоместного номера небритый, в измятом костюме, и, конечно, дико изумился, увидев ее: «А где муж?» — «Муж должен был срочно выехать в командировку».

И дальше четко, строго: «Вот деньги, их должно хватить на оплату гостиницы и билет до Махачкалы. Больше дать не можем». — «Я все отдам». — «Понимаю, что отдадите. Но у нас нет станка, который бы печатал деньги».

— Откуда деньги-то?

— В кассе взаимопомощи взяла.

— Ну, и он что?

— Вдохнул. Поблагодарил. Но самое потрясающее он сказал в конце.

И она попыталась в лицах показать этот диалог.

— Слушай, ты замечательный женчин. У тебя есть подруга?

— Зачем вам моя подруга?

— Жениться хочу.

— Так вы женаты.

— Она безграмотная полугорянка. Хочу, чтоб жена была, как ты, кандыдат наук.

И он сделал округлый жест, как бы обводя ладонями пышные женские бедра.

Так и остался этот жест в наших застольных байках — «кандыдат наук» — и округлый абрис женских бедер.

Надо было ехать в Дагестан. Содержимое подаренного узелка давно кончилось, оставались для образца лишь несколько ягод. В редакции я уже заводил разговор о том, что мы непозволительно сужаем тематику, пишем в основном о сельском быте и нравах России, между тем на Кавказе, к примеру, в горных селах имеются интереснейшие обычаи и традиции. Шеф иронически косился, выслушивая эти самокритические эскапады, но командировку в Дагестан для описания этих самых горских обычаев завизировал безропотно.

К командировкам я обычно готовился тщательно — заранее созванивался с людьми, намечал план действий, внимательно просматривал местные газеты, вызывая потом у тамошних чиновников изумление своим знанием их дел, что приписывалось таинственному всеведению Центра: «Москва, она все знает».

При просмотре дагестанской русскоязычной газеты меня ожидал сюрприз. В игривом, написанном с провинциальными ужимками фельетоне рассказывалось о некоем почтенном враче, который по совместительству еще является лектором общества «Знание». Автор приводил отрывки из лекций этого врача и рядом выдержки из различных документов, как бы сопоставляя слово и дело. Скажем, цитата из лекции о необходимости укрепления «нашей советской семьи», о важности брачных уз для формирования характера советского человека, и тут же вы-

писка из решения суда, в котором лектор разводится со своей третьей женой.

Даже если бы фамилия героя не называлась, я бы узнал своего друга Рамазана и его «безграмотную полугорянку». Но фамилия называлась.

Дальше — выдержка из лекции о вреде алкоголя, о необходимости борьбы с пьянством, и опять-таки выписка из милицейского протокола, в котором сообщается, что гражданин Алиев был отвезен в вытрезвитель в момент, когда он в состоянии сильного алкогольного опьянения ползал на четвереньках по тротуару. После пребывания в вытрезвителе вышеупомянутый гражданин заявил, что не был пьян, а по тротуару ползал в поисках потерянного пиджака, в котором находился его диплом кандидата медицинских наук.

Вечером, когда мы дома с хохотом вслух читали этот фельетон, жена заметила, что он постоянен в своих сюжетах: всегда присутствуют полугорянка и кандидатский диплом, основные его жизненные коллизии связаны именно с этим. И вообще он цельная натура, наш друг Рамазан.

Смех смехом, а фельетон несколько осложнял мои планы. Ведь я хотел уговорить его поехать со мной в горный район с тем, чтобы найти именно тот сорт шиповника, который он привез. Теперь же совместное путешествие столичного журналиста и местного целителя-самородка в поисках народных методов лечения в глазах начальства, без помощи которого мне было не обойтись, выглядело не таким уж естественным из-за подмоченной репутации самородка. Уж, наверное, вся республика читала и хохотала. Тем не менее, ехать было надо.

Прямо с самолета, бросив портфель в номере гостиницы «Дагестан» (опять вспомнилась эта несчастная полугорянка, ведь это сюда он ее устраивал администратором), отправился в поликлинику. Домашнего телефона у него не имелось, адреса он мне не давал, так что найти его можно было, только явившись на прием.

Господи, как же он изумился, когда я заглянул в дверь. Помоему, даже побледнел. Видимо, все-таки наше поведение ка-

залось ему странным и непредсказуемым. То красивая интеллигентная женщина является с деньгами в гостиницу, где он валяется вполпьяна, то муж, в его представлении не последний человек в Москве, прилетает к нему за тридцать земель на прием. А может, смутился из-за неотданных денег? Но нельзя же было сказать: «Плевать на эти деньги, только помоги». Я разыгрывал встречу старых друзей: «Привет, дорогой Рамазан, вот я и в ваших краях!»

Помолчав минуту, он пришел в себя.

— Заходы. Сейчас, вот ее приму, — он кивком показал на истомленную молодую женщину в черном платье, безучастно сидевшую на стуле, — и пойдём.

— Да там у вас полный коридор.

— Ай! — Он пренебрежительно махнул рукой. — Не уходи. Сиди здесь. А ты раздевайся.

Женщина покорно начала снимать платье.

— Рамаза-ан, — протянул я, пораженный этой первобытной простотой нравов.

— Что? А-а... Ну, иди за занавеску.

Они оба ушли за ширмы, откуда вскоре начало доноситься какое-то урчанье и односложные ответы женщины на незнакомом языке.

— Все, — сказал он, стягивая халат, который еле сходил на его могучих плечах. И мы скоренько пропрыгнули по коридору мимо молчаливой очереди, а через десять минут сдвигали рюмки в какой-то пропахшей чесноком и пережаренным мясом харчевне.

Поехать со мной в горы он не мог. «Не отпустят меня». И вообще что-то у него сломалось в жизни. Он уже не распространялся о своем замечательном методе лечения диабета, говорил туманно и все больше о врагах, порочащих его честное имя, видимо, имея в виду фельетон. Я попросил назвать районы, где больше всего растет этот шиповник. Он назвал, но сказал, что собрать будет трудно. «Я знаю, какой надо, некоторые старики знают, а ты как найдешь?»

Но должен же кто-то кроме него из серьезных людей разбираться в шиповнике, может, НИИ какой-нибудь? Ведь на каж-

дый предмет в нашем государстве — НИИ. НИИСтул, НИИ-стол... Он сказал, что в местном университете есть толковый русский человек, продиктовал фамилию.

Харчевня начала заполняться вечерним народом. Гуще чадили шашлыки, гремел оркестр, кто-то примеривался плясать лезгинку. Говорить было не о чем, домой к себе он не звал, видно, страсти семейные там кипели круто. Да и в Махачкале я задерживаться не собирался. Выпили за дружбу. Простились. Расплатиться он мне не дал. Больше я его никогда не видел. Жив ли, куда завел его необузданный характер? Не знаю.

Лет десять спустя занесло меня в Махачкалу с каким-то бродячим аграрным семинаром, позвонил в поликлинику, сказали, такого нет и фамилии не слышали. Спросил у регистраторши, долго она сама там работает, сказала: три года.

Мы нередко его вспоминаем — словечки, жесты, истории. Может, мы одни его и помним. А пока помним — значит, жив.

Толковый русский человек оказался доцентом кафедры ботаники. Он четко и достаточно безапелляционно разъяснил ситуацию. О сахаропонижающих свойствах некоторых помолологических сортов горного шиповника известно давно. Никакого открытия Алиев не сделал, просто стал применять народный рецепт. Искать эти сорта в горах несведущему человеку практически невозможно. Вообще по делу бы надо их культивировать и разводить плантации, о чем мне, журналисту, хорошо бы написать. Проблема интересная.

Разговор сам собой привычно вошел в русло интервью с ученым о природных богатствах края. Но не интервью мне требовалось, и писать о культивировании горного шиповника было бесполезно (хотя впоследствии я это сделал). Никто этим заниматься не будет. Планы по сбору лекарственного сырья спускаются потребительской кооперации. И ни она, ни медицинская промышленность себе дополнительных хлопот искать не станут. Уж эту-то механику я знал досконально. Пиши я хоть двадцать лет — толку не будет. Мне бы килограммов десять этих целебных ягод раздобыть и уехать себе восвояси. Но тут мой ученый собеседник ничем помочь не мог. Разве что посовето-

вал из трех названных Рамазаном районов выбрать Чародинский.

— Только больно уж высоко расположен этот район, пожалуй, самый высокогорный в республике. Не знаю, как уж лучше вам туда добираться. Впрочем, сейчас здесь сессия Верховного Совета республики, обратно-то чародинские депутаты поедут. Попроситесь.

Попросился. О шиповнике до поры до времени, естественно, ничего не говорил. Сказал, что хочу написать об аварских обычаях, традициях и фольклоре. Это вполне удовлетворило секретаря райкома.

Фольклор начался уже в дороге. Собственно, сами сборы в секретарской квартире (у него была квартира и в Махачкале), с долгим застольем, куда набивалось все больше местных джигитов, с погрузкой бесконечных тюков и кульков (как я понял, с добытыми в обкомовских распределителях дефицитными харчами и товарами), с рассаживанием по машинам и медленным втягиванием всей этой вереницы в горы напоминало выезд наиба со своими верными мюридами. Только вместо папах — кепки-аэродромы, а вместо коней — «уазики»..

Едем в молоке тумана, с трудом прорезаемого светом фар. На остановках шофер горстями сыплет на ветровое стекло соду и соль. В придорожной хинкальной режем взятую с собой холодную баранину, едим соленый овечий сыр, пьем коньяк.

К вечеру туман рассеивается, и в горных долинах видны огни Гуниба, где Шамиль сдавался Баятинскому. Грубее, мощнее наплывы скал, кончается асфальт, ночная холодная пыль. Но оживают мои спутники. Две молодые аварские крестьянки, повернувшись друг к другу лицами, запевают резкими сильными голосами. Сначала кажется, что кричат, не поют, потом ощущаешь мелодию и благозвучие этого клокочущего гортанного языка.

— Что за песня? — тихонько спрашиваю секретаря. — Старинная, военная?

— О любви. — И переводит: — Если любишь, то будь неутомим в любви, как волк, и решителен, как волк, будь скор на шаг и хитер, как лиса.

Ничего себе любовь.

Запевают другую. Думал, величальная свадебная. Ан нет, гимн района. Опять не угадал. Или такая: «Высоко в горах выпал снег. Златокудрый барашек моет свое руно. Под елью спит страшный зверь...»

— А дальше все о любви... — махнул рукой мой переводчик.

Живу в доме секретаря райкома. Гостиницы в ауле нет. В доме холодно, здесь не принято в ноябре топить. Отогреваюсь только в райкомовском кабинете, куда мне носят всякие справки. Время от времени отправляемся в поездки по району вместе с секретарем, который служит мне переводчиком. В прошлом он учитель истории, по-русски говорит почти без акцента, хорошо воспитан, без обычного кавказского гонора.

На улицах аула (райцентр — типичный горный аул, дома с плоскими крышами один над другим на склоне, крутые узкие улицы, по которым с шумом бежит вода осеннего дождя) ко мне то и дело подходит какой-нибудь сухощавый, с аккуратно подбритыми усиками молодой аварец, лукаво поглядывая из-под аэродромного козырька, протягивает руку:

— Здравствуй, как дела?

— Спасибо, хорошо. А у вас?

Молчит, смущенно улыбается, не зная, как продолжить разговор, как прорваться сквозь кору другой культуры. Мы непознаваемы друг для друга, как непознаваемы здесь, в Германии, для нас немцы.

— Ви гет эс инен? (Как поживаете?)

— Данке. Гут. Унд зи? (Спасибо. Хорошо. А вы?)

— Эс гет мир гут. (Хорошо поживаю.)

Вот и весь сказ. Зачем вы сюда приехали из своей чертовой России, бьется невысказанный, а иногда и высказанный вопрос даже у вполне интеллигентного немца.

Что ты здесь делаешь, чужой московский человек, что ты все вынюхиваешь, думает кавказский горец. Тебе наших дел не понять, нашей болью не болеть...

А я стою на пороге первобытной фермы на краю альпийского луга, внизу в ущелье шумит река Кара-Койсу, и доярка



Патимат Алимагомедова пытается через переводчика рассказать мне о своей жизни. Я слушаю ее запинаящийся рассказ, а сверху, с потолочной балки стеклянным взглядом глядит на меня мертвая ласточка, прибитая сюда как амулет. На счастье? На долготелье? Ради чего еще прибивают амулеты?

Я исправно читал справки и отчеты отдела культуры, добросовестно выслушивал речи старейшин, которые неизменно встречали нас у въезда в село, сидя на камнях и опираясь на библейские посохи.

Они были велеречивы и по-восточному льстивы, эти старейшины, каждый раз подымая стакан (между прочим, чаще всего с компотом, водку пили молодые) за партию и правительство, которые прислали им из Москвы такого замечательного человека, как я. Секретарь уж и не переводил для меня эти тосты ввиду их однообразия. Лишь однажды я, услышав в медлительно клокочущей речи имя Хрущева (дело-то меж тем было в 76-м), спросил у своего высокопоставленного толмача, почему старик поминает Никиту Сергеевича? «Он путает, забыл, видно, что теперь Брежнев. Старый человек, не обращайтесь внимания. Когда он начнет о работе совета старейшин, я переведу». И действительно, вскоре начался хорошо упакованный в тост и довольно толковый отчет о работе совета старейшин — сколько конфликтов разобрали, как молодежь наставляли.

Размякая и хмелея в этих долгих застольях, я предавался неуместным мечтаниям. Сидишь рядом с огромной пастушеской буркой, висящей на стене, поглаживаешь пышную шерсть, да и вообразишь себе, как являешься домой в таком роскошном одеянии. Набравшись нахальства, похвалишь его, памятуя горский обычай дарить все, что нравится гостю. Но, видно, и хозяин не промах, скажет только: «Да, хороший бурка, хороший» — и разве что к бутылке потянется. А я уж представлял, как звоню в дверь своей московской квартиры, как ахает жена, увидев такого джигита да еще с мешком шиповника под полой.

С шиповником все было и просто, и сложно одновременно. Секретарь иронически хмыкнул, когда я сказал, что хочу купить килограммов десять горного шиповника.

— Да неужто вы думаете, мы вам продавать его будем? У нас вон пионеры его собирают для райпо, вся школа завалена. Хоть тонну дадим.

— Да мне вот такой нужен, — показал я рамазановскую ягоду.

— Дадим такой, — скользнул по ней взглядом секретарь.

Конечно же, принесли мешок всякой мешанины, где нужный сорт попался лишь изредка. Все получилось, как говорил русский доцент.

Так и летел я сначала на вертолете до Махачкалы, потом на самолете до Москвы, правда, без бурки, но с мешком, полным сухих ягод, поставившим точку в нашей дагестанской эпопее.

## ГЕРБАРИЙ ИМЕНИ ТОВАРИЩА ЛИННЕЯ

И снова подсвеченное воспоминанием пятно, выхваченное из мглы прошлого. Осень. Вечерний парк. Оплывшие от дождя, заваленные мокрой листвой дорожки. Каждый вечер сын встречает меня после работы на трамвайной остановке, и мы идем в парк.

Никогда потом мы не гуляли с ним вдвоем. Позднее у него восстановились прерванные болезнью контакты со сверстниками, а затем пошла взрослая жизнь со взрослыми друзьями и романами, с институтскими интригами, но всем этим он делился с матерью. Со мной как-то не получалось, может быть, считал не по-мужски жаловаться, посвящать в свои тяготы, мать — другое дело, а мы — мужики...

Но тогда, сразу же после первой больницы у нас установилась некая близость, которую я боялся спугнуть. Собственно, не такая уж это была близость, просто из вечера в вечер шел диалог, где я говорил, а ответом были короткие вопросы да впитывающее его молчание.

Я достаточно откровенно, не снисходя к его возрасту, рассказывал о своем дне, открывая всякие, в том числе и теньевые особенности ремесла, отчего спустя несколько лет, когда пришло время выбора вуза, в ответ на мое: «А может, ты журналистом хочешь быть?» — получил: «Что я, с ума сошел?»

В те вечерние прогулки я пересказывал всякие юношеские книжки об ученых — «Охотники за микробами» Поля де Крюи, «Эрроусмит» Синклера Льюиса, (Впоследствии, перечитывая «Эрроусмит», он дико хохотал: «Какой романтический бред!») Выдавал небольшие лекции из российской истории.

Тема казалась мне не важна, лишь бы втянуть его в жизнь — нынешнюю или прошедшую, пробудить хоть какой-нибудь интерес, не оставлять застывшим в ощущении безысходности.

В этих разговорах мы, конечно же, касались выбора профессии. Он осторожно сказал, что теперь хотел бы быть врачом.

— Эндокринологом? — спросил я.

— Не обязательно. Но врачом.

Это было понятно. У детей, впрочем, как и у подростков, представление о профессии формирует ее зрительный образ. Но у него прибавлялось еще и ощущение надежды, возлагаемой на медицину. Этот настрой не прошел и годы спустя. Врачом, врачом, а в подтексте звучало — знать свой организм. И, наверное, романтическое — а вдруг открою способ лечения диабета. Это потом ведь Эрроусмит казался смешным, тогда, в отрочестве — вряд ли.

В десятом классе мы стали обзирать возможности поступления в мединститут. В один из трех имевшихся в Москве, Впрочем, попасть туда казалось чудом.

Это было время величайшей остойчивости государственного корабля. Система сложилась четко, строго и казалась неизбежной на необозримо долгие годы. Так всегда в России; перед сломом политический строй кажется особенно прочным. Всё — от политбюро до квартирного жэка — отлилось в жесткие формы. И всякий сверчок знал свой шесток.

Лев Гумилев в ходившей тогда по рукам книжке «Этногенез и биосфера Земли» приводил придуманную им этническую иерархию. Помимо общеизвестных понятий — суперэтнос, этнос, субэтнос — он вводил незнакомые мне таксономические единицы — консорция и конвиксия. Первая — группа людей, объединенная одной исторической судьбой. Критерий второй группы — однохарактерный быт и семейные связи.

Я без труда определил свое место в такой этнической структуре. Суперэтнос — Советский Союз. Этнос — Россия. Субэтнос — Нечерноземье. Консорция — русская интеллигенция. Конвиксия — русская интеллигенция еврейского происхождения.

Вот так-то. Весь я с семьей, со своими надеждами и драмами, с будущим и настоящим был приколот, как сушеная бабочка в коллекции энтомолога или растение в гербарии.

Впрочем, меня занимали эти линнеевские игры. Страсть к социальному моделированию была свойственна рациональной природе «русского интеллигента еврейского происхождения». Быть наколотым в гербарии и не вообразить себе, что же такое этот гербарий...

Среди любознательных американцев, часто бродивших тогда по московским интеллектуальным домам, один все допытывался, какие слои населения чувствуют себя богатыми? Мы хором перечисляли; высший слой государственной бюрократии, верхушка так называемой творческой интеллигенции (преуспевшие писатели, ученые, артисты), деятели черного рынка... Он бойко записывал (может, диссертацию человеку делать надо или статью привезти) и ставил все новые вопросы. Так что же все-таки объединяет людей в советском обществе, что является критерием принадлежности к тому или иному социальному слою?

Мы спросили его, знаком ли он с официальным представлением о советской общественной структуре? Оказалось, что слышан. И о ведущей роли рабочего класса, о стирании граней, о строительстве социально однородного общества знает. Ему непонятно только одно: почему, если в селе колхоз, то люди там принадлежат к кооперированному крестьянству, а если совхоз — к другому слою — к рабочему классу.

Похоже, что он был социолог, ибо дальше вопросы становились все более профессиональными. Какой стратообразующий признак считать основным в условиях государственной собственности на средства производства? Натолкнувшись на наше задумчивое молчание, он снизил планку.

— Ну, хорошо. Как вы отличаете себе подобных? По одежде?  
— Нет, конечно. Одежда не критерий. Есть много других признаков.

— Назовите хотя бы один.

— Например, отношение к войне в Афганистане. Человек, оправдывающий вторжение, обязательно чужой.

— Значит, критерием или главным стратообразующим признаком является политическая позиция?

— Одним из критериев.

Мы знали, что, по Марксу, классы отличаются по принципу отношения к собственности. И в этом виделась логика. Дворянин оставлял сыну поместье, купец — торговое дело, крестьянин — землю и при этом еще умнее управляться с наследственным достоянием. Но мы-то, мы что передадим, к какому бы слою мы ни принадлежали? Правда, по Марксу опять же, выходило, что дворянин должен был переставать считать себя таковым, если поместье шло с молотка.

— Поместья могло и не быть, — заметил один из нас, — но привычка бриться каждый день оставалась.

И мельтешней вопросов и реплик посыпалось:

— Наследуется мировоззрение.

— А что это мировоззрение?

— Доктор наук, строящий коровник, это кто?

— Групповая мораль...

— Для аппаратчика КГБ — естественное государственное звено, а для интеллигента — Левиафан.

— Единого стратообразующего признака нет и не может быть. Нужен комплексный критерий.

Позже мне показалось, что я придумал-таки модель стратификации советского общества. Социальные слои можно было различать по способу существования, это и есть комплексный критерий. Способ существования, в свою очередь, определяется способом заработка, мироощущение — бытом. Но и способ заработка семь — от зарплаты до хищений. Мироощущение определялось отношением к политической системе, к культуре, национальным сознанием. Всего получалось два

десятка признаков, исходя из которых, я делил общество на социальные слои — аппаратчики, образованные, пролетарии, интеллигенты, служащие...

Возможно, что это был дилетантизм, но в специальной литературе я реальной модели не находил, а в профессиональную социологическую среду идти почему-то не хотелось. Разве что на подпольном семинаре рассказал о своей схеме. Их много было тогда по Москве, таких семинаров.

Уже не так страшно было свободно говорить, как в прежние времена, хотя и звали избранных, тех, кого знали годы. У каждого наряду с делом, которое делалось ради хлеба насущного, имелось нечто свое, тайное, не вписывающееся в идеологические рамки. И какие неожиданности поджидали нас в этом самораскрытии, как часто все начиналось со взаимного, словно у слепых пальцами по лицу, ощупывания. Будто током тебя тряхнет, словно обнаженного провода коснулся, так и шибает страстью мысли и выношенной мукой открытия. Но и тут — страх соприкоснуться не с профессиональной глубиной, а с обыкновенным заносчивым дилетантизмом.

Всяко бывало. Вдруг придет по чьей-то рекомендации маленький худенький человек неопределенного возраста в заношенной одежде. Долго будет снимать галоши в передней, подтирать нос скомканным платком, а потом заведет часа на два такую самостоятельную политологическую волюнку, с такими банальными и долгими экскурсами в историю, что в тоску и сон бросает. Но это тебе — тоска и сон, а он семью оставил, работу инженерную бросил, живет на нищенскую пенсию матери и за три года неустанного маниакального труда сотворил рукопись эдак страниц на тысячу. Он жизнь на кон поставил, и ничем ты теперь его не переубедишь.

Но бывает и другое. Как-то, выступая на писательском собрании, посвященном судьбам российского крестьянства, я процитировал Олвина Тоффлера, чью статью «Третья цивилизация» за день перед тем прочитал в «жутко антисоветском» журнале, издаваемом американским посольством. Процитировал, разумеется, без ссылок, вырвав из контекста понадобившуюся мне мысль о том, что со временем рабочие места все

больше будут переноситься из контор домой или что-то вроде того. Как говорится, «некоторые зарубежные специалисты полагают...» Выступил, сел и увидел, как полыхают смехом глубокие восточные глаза моего соседа, журналиста из «Литературки»: «Тоффлера цитируем?» Я похолодел. «Да не бойсь, никто здесь, кроме нас с тобой, его не читал».

За долгим литературным обедом, последовавшим вслед за собранием, мы осторожно ощупывали друг друга по методу слепцов, по словечкам, репликам создавая портреты «братьев по разуму». Это ощупывание продолжалось и потом, пока не произошло взаимное раскрытие, удивившее нас обоих — так сильно внутренние портреты отличались от внешних. Он — автор социально-экономических статей в «ЛП», нормальный добротный журналист, много лет работал над антиэнгельсовской концепцией антропосоциогенеза, я же — аграрный публицист черниченкова цеха, так сказать, профессиональный радетель российского крестьянства, прилежно изучал мистическую философию иудаизма и писал статью по каббале. «Не жизнь, а сон пьяного кондитера», — сказали мы друг другу.

Семинар был пестр и причудлив, как этот сон. Сегодня обсуждалась общая теория систем, а завтра замысел документального повествования о том, что Пушкин был потенциальный невозвращенец и только в силу разных случайностей ему не удалось удрать за кордон и там остаться.

Потом из этого всего стали получаться книжки, выходившие за рубежом или в России после 85-го. А еще потом почти все семинаристы разъехались и продолжали свои штудии где-нибудь в Калифорнии или Нижней Саксонии, в Берлине или Иерусалиме.

Вузы легко классифицировались. Были перворазрядные — МГУ, МГИМО, Физтех. Второразрядные — Бауманское училище, московские медицинские институты. К третьеразрядным относились тогда финансовый, пищевой.

Институт землеустройства, который я когда-то окончил, можно было причислить к какому-нибудь четвертому классу. Но я в свое время не строил иллюзий и подался туда, застав

там немало таких же «русских интеллигентов еврейского происхождения», трезво оценивающих свои возможности. Получив диплом, они в большинстве своем прочно забыли о землеустройстве, освоив другие профессии. Важно ведь было иметь высшее образование, а какое оно, никого особенно не интересовало.

Но сын не хотел быть сухим растением в гербарии. Кто-то ведь попадает в медицинский. Я знал, кто. Можно было дать взятку. Почти легально. Взятка — один из семи способов заработка, определяющих способ существования представителей теневой экономики, к которым принадлежала часть так называемой научной интеллигенции. Все это было замечательно просто на моей схеме. Но размеры взятки были для меня запредельны. Я-то не принадлежал к теневикам. Я не принадлежал к элитарным аппаратчикам, чьи дети также могли учиться в медицинском. А мой сын не проходил армейскую службу, после которой имелись льготы при поступлении в институт, не кончал с отличием медучилище, что также давало льготы. Шансов у него не было.

Но я не хотел отговаривать его, чтобы потом не жгло всю оставшуюся жизнь воспоминание о нереализованных возможностях. Мы могли только нанять ему репетиторов, без чего вообще ни в какой вуз попасть было нельзя. Между школьными знаниями и институтскими требованиями существовал порог, преодолеваемый только с помощью специального и неплохо оплачиваемого натаскивания.

Август 79-го. С утра, запустив его на экзамен, весь день стою у выходящего во двор институтского крыльца. Руку оттягивает огромный портфель, истасканный в моих странствиях. Но сейчас в нем не обычный командировочный набор — смена белья, бритва, тренировочный костюм, служебные бумаги, а термос, свертки с едой, инсулин, шприц.

Похоживаю по замусоренному двору среди пыльных деревьев. Иногда прижимаюсь к шершавому бугристому стволу, словно ища опору, курю одну папиросу за другой, так что вечером во рту горечь, тоскую, понимая бесполезность этой затеи.

Весь год он занимался с репетиторами химией, физикой, биологией. И этот его привычный нам на всю последующую жизнь облик — часами неподвижная сутуловатая поза над столом в круге света настольной лампы, так что видна только чуть согнутая спина да взлохмаченный затылок — сформировался в тот год. Мне всегда казалось, будь у меня его усидчивость, его умение часами, не отвлекаясь, сидеть над учебником, въедливое упорство в постижении того, что надо, а не только того, что интересно, я бы куда большего добился в жизни.

Я мог просидеть ночь, вернее, не просидеть, а пробежать по комнате, присаживаясь, вскакивая, бросаясь на диван, и написать все, что нужно, но это была запойная работа, после которой следовало похмелье. У него же была какая-то окаменелость, четкий в определенные часы, без раскачки, сосредоточенный труд.

Нам с женой казалось, что это качество у него выработала болезнь, которая задала строго обязательный ритм жизни. Хочешь не хочешь — делай укол, ешь определенную еду, не позволяй себе того, что позволяют себе твои сверстники. Болезнь и честолюбие сформировали его характер. И впервые этот характер проявился в год подготовки в институт.

По основному предмету — биологии — он занимался с преподавателем кафедры того же мединститута. Точки над «і» были поставлены сразу же: «При поступлении ничем помочь не могу, но качество подготовки гарантирую». Летом он устроил ему экзамен. Долго гонял по всей программе, потом вздохнул, развел руками: «Это максимум того, что я мог сделать». То же самое было и с другими репетиторами: экзамен, заверения в максимально возможном уровне знаний. Как бы сертификат давали: не зря же деньги берем. А вздох означал: «Знать, ты, парень, что тебе положено, знаешь, только все равно вряд ли поступишь». Это мы и сами понимали.

Конечно, я попытался сделать пару заходов на институт. Сначала через кафедру биологии. Ее основателем был отец моего ближайшего друга детства, к тому времени отставной профессор на пенсии. Авторитет его когда-то был так велик, столько поколений врачей с восторгом вспоминали его лекции, что

я решил: чем черт не шутит, может, слово замолвит или выведет на нужных людей.

— Ты мне как сын, — сказал он. — Но я ничего не могу. Они даже на экзамены меня не пускают. Все там чужое.

Я помнил его сорокалетним, изящным, аккуратно сложенным, с живым блеском в глазах. Его здорово потрепали в лысенковские годы, в сущности, сломали карьеру, но он не выглядел сломленным, занимался историей естествознания, писал книги о Ламарке, Жоффруа де Сент-Илере, Линнее, много читал, думал, был говорлив и открыт с нами — пятнадцатилетними юнцами. Сейчас он сидел старенький, с тоской в глазах.

— Там все чужое, — повторил он.

Я понимал, что он имел в виду, и вспомнил этот разговор несколько лет спустя на поминальном собрании Московского общества естествоиспытателей, посвященном его памяти. Выступала его преемница по кафедре — сухощавая подтянутая пожилая дама с очень уверенной повадкой. Строго и дорого одетая, с хорошими бриллиантами в ушах, она говорила все что следует в таких случаях, без излишней патетики, но с положенной долей теплоты на тему: «Какого ученого мы потеряли».

Конечно, они были чужды ему, эти деловые дамы, спортивные, хорошо одетые мужики, которых я навидался в разных клиниках и институтах. Лихо водящие свои «Жигули» и «Волги», играющие в теннис, обросшие связями, и такими же, как они, учениками, они четко знали всему цену и оправдание: «Какая взятка? И медицина, и вузовское обучение должны быть платными».

Еще пять-шесть лет спустя они составят деловой слой нового общества, его бизнес-элиты. Они будут править бал в освобожденной от большевиков России, являясь подлинными новыми русскими. Где было их понять моему старенькому профессору с его принципиальной беспартийностью, воспоминаниями о сталинском демонизме и идеалами двадцатых годов?

Сделал я заход и на пахана этой институтской банды — ректора, мужика крутого, обвешанного всякими научными званиями и совершенно недоступного. Уж я с удостоверением «Литературки» подкатывался на предмет беседы о его лич-

ных научных достижениях — секретарша даже не соединяла. Плевать ему было на эти беседы. «Да меня шесть цирюльников за честь почитают брить», — кажется, так говаривал в гоголевском «Носе» квартальный надзиратель смиренному брадобрею, предложившему ему свои услуги.

Не надо было и соваться. «Нет, надо», — сквозь сжатые зубы сказал сын. И теперь я мотался по этому обрыдлому двору, перетирая зубами мундштук папирасы. Почему-то в трудные времена меня тянуло с сигарет на пролетарский «Беломор».

Поступали с ним просто, без затей, но все же каждый в меру своей экзаменаторской фантазии. На биологии просто сказали, что начал перечисление какого-то класса организмов не с того конца. И все — тройка. Физик, отметив, что задача решена правильно, усложнил ее условия, но подумать ни минуты не дал. Тройка. Правда, с иезуитской доброжелательностью было сказано, что физику он знает, но на тройку, а это неплохая оценка — не двойка же. Перед химией он решил не готовиться в промежутке между экзаменами и вообще не утруждать себя размышлениями при ответах. Все равно тройка. Я предложил прервать эксперимент ввиду его бесполезности, но он захотел продолжить до конца.

По шесть-семь часов он просиживал в институте без еды и укола. Запускали туда всех сразу, а там уж вызывали по очереди. Его очередь почему-то всегда была в конце. Выходил черный, осунувшийся, прямо во дворе подкальвался, пытался есть. Я хватал такси, вез его домой, где, изводясь от бессилия, ждала мать. И так все пять экзаменов.

После пятого я помчался в хозяйственное управление Минсельхоза, выпросил три путевки в ведомственный пансионат в Евпатории, и, запретив себе говорить на вузовские темы, мы отправились в Крым.

Этот запрет действовал и в сентябре, когда мы, напившись солнцем и промыв почки арбузами, вернулись в Москву. Говорить было бесполезно. Предстояло найти какую-то альтернативу медицине.

Я понимал, что не так-то легко отказаться от живущего в нем

образа — белый халат, спаситель людей, профессиональное понимание собственной болезни. Надо предложить что-то другое, но тоже несущее в себе романтический заряд. Ни экономика, ни инженерное дело этого заряда не несли. Биология... Но биофак МГУ еще более недостижим, чем мединститут.

— А давай его к нам, в пищевой, — сказал мне приятель, редактор студенческой многотиражки.

— Хлебопекарем или пивоваром?

— Ну почему же пивоваром? Есть специализация по ферментам. Моя девка кончила, в институте генетики работает. У нас же в сущности генетиков готовят, только нужно на эту специальность попасть.

Этот человек был Устроителем Собственной Жизни — УСЖ. Будучи старше меня лет на десять, он принадлежал к поколению, кончившему вузы в начале пятидесятых. Представителю его конвиксии («русский интеллигент еврейского происхождения») ходу не было никакого, разве что на дно журналистики — в заводскую или институтскую многотиражку. Так вот и получилось, что в этих микрогазетах оседали активные молодые люди или, как говаривал русский классик Виктор Астафьев, «шустрые еврейчата».

Эти «еврейчата» сидели, старели, некоторые из них годы спустя вырывались-таки в большую журналистику, а другим уж и не хотелось ничего — шли парткомовские премии, на заводе тебя все знали, жизнь текла спокойная, умеи только ладить с парткомом да с директором, чьим личным писателем ты постепенно становился. И они превращались в УСЖ — получали квартиру, находили легкие приработки, устраивали детей в вузы, посиживали в пивбаре Дома журналиста, всех знали и их все знали в околотитературной Москве, жизнь была нехудая, и ничего-то больше не хотелось.

Так вот и этот мой приятель. Розовощекие студенты, которые писали к нему в газету, становились почтенными профессорами, появлялись новые поколения студентов, уходивших в модные НИИ, а он так и сидел в своей уютной многотиражке, будучи уже и с ректором на ты, почитывал лекции в обществе «Знание», благо времени ему его газета оставляла много, ездил

в какие-то таинственные хлебные командировки, обустроивал квартиру на Пушкинской, покупал «Жигули». Грива его побелела, но все так же он был весел, криклив, неутомим в застолье, безотказен по отношению к друзьям и охотно взялся быть моим проводником во всяких абитуриентских делах, в предстоящем визите к ректору, снабжал всякими институтскими проспектами и популярными книжками по генетике.

Но выбрать вуз и проложить фарватер для подхода к ректору было еще не все. По новым правилам абитуриент имел право поступать вторично, только если он этот год проработал на производстве.

Я было бросился добывать фиктивную справку — пустой бланк с печатью и заполняй как хочешь. Но оказалось, что нужна запись в трудовой книжке да еще развернутая характеристика за подписью треугольника, да в институтах поперву к этому начали относиться с демагогической серьезностью («Нам нужна трудовая молодежь, поварившаяся в рабочем коллективе, а не маменькины сынки»), привлекли к проверке комсомол, а с этих мудозвонов могло стать и выяснить, откуда характеристика, кто ее подписал.

Рисковать было нельзя, предстояло устраиваться на работу, но на такую работу, которая не мешала бы заново готовиться к экзаменам. От репетиторов он отказался, но проходить повторно все предметы решил обязательно и с максимальной обстоятельностью.

Выручил и на этот раз знакомец из породы тех же «еврейчат». По должности он был начальником небольшого информационного отдела в аграрном приборостроительном объединении, а по существу выполнял функции пресс-секретаря при генеральном директоре. Такое занятие давало утешительное ощущение близости к большому начальству и порождало сладкую «серокардинальскую» иллюзию.

— Я сам на такое не потяну, — ответил он на мою просьбу. — А вот если ты для затравки сообразишь статью о работе нашего объединения, я тебя потом с шефом познакомлю поближе, подготовив его соответственно. Ты как — на выпивку крепко?

На выпивку-то я был крепко, без этой закалки в России не прожить, и статью «сообразить» дело не хитрое, а вот как лучше подступиться к этому приборостроительному шефу с моей просьбой?

— Об этом не думай, — сказал мой добрый УСЖ. — Это я беру на себя. Ты только приходи в нужный час — себя показать, на него поглядеть.

Смотрины оказались долгие. Конца, казалось, не будет директорскому монологу, который мне полагалось слушать, не только попивая коньяк из бара — тесно заставленного бутылками стенного шкафа в комнате отдыха, но и вставлять реплики, показывающие мое знание людей, чьи фамилии упоминались.

Люди эти принадлежали к высшему аграрному начальству, и коли я доказывал свою причастность к этому кругу (а по репликам можно было судить о моей истинной осведомленности), то, стало быть, и со мной дело можно было иметь: «Наш человек».

Но такая «проверка на вшивость» была лишь одной сюжетной линией директорского монолога. Другая не имела утилитарной целесообразности. Это была исповедь, автопортрет человека, сжигающего себя на костре отдачи делу, живущему ради людей — огромного коллектива, отцом-основателем которого он является.

Мне приходилось выслушивать такие исповеди почти в каждой командировке, и чем выше ранг исповедующегося, тем более красочными и поэтичными становились эти «индивидуальные творческие истории». В таком сюжете обязательно имелись трудовая юность — станок или трактор, сохраненное и по сей день ручное умение («Да я хоть и сейчас печку сложу, поле вспашу»), прекрасная семья (о детях с умилением: «Он у меня такой...»). О низших говорилось с отеческой снисходительностью, о высших — со знанием характеров и подтекстов отношений, с полунамеком, вполголоса. О народе — со смесью любования и иронии: «Мы ведь, русские, какие...» О Западе — с уважением, но вместе с тем тоже и с иронией по поводу их

непонимания наших порядков, нашей души. Это был род автобиографического творчества, создание собственного образа.

Все соответствовало принципу, сформулированному основателем российского структурного литературоведения Владимиром Яковлевичем Проппом: «Все сказки — одна сказка».

Исповеди моих собеседников были родом автобиографического творчества, современного героического эпоса, создающего автопортрет мудрого, доброго, пронизательного, все понимающего правителя. Между прочим, в жанре русского героического эпоса написана первая автобиографическая книга Ельцина.

Эрих Соловьев, анализируя жанр современной биографии, рассказывает о концепции Г. Миша — теоретика и практика этого жанра. «Наиболее примечательные моменты концепции Миша — это, во-первых, решительное возвышение автобиографии над биографией и, во-вторых, устранение проблемы и понятия аутентичного заблуждения. Если автобиографический материал доносит до нас подлинное «поэтическое воодушевление» пишущего, он, согласно Мишу, должен приниматься с благоговением, исключаящую всякую критику, ибо духовный подъем созидает формы выражения, которые не могут быть ничем, кроме истины».

Чего-чего, а «поэтического воодушевления» у моих собеседников хватало.

На следующий день после пьянки с приборостроительным начальником позвонил УСЖ.

— Все в порядке. Пусть твой парень приходит в отдел кадров. Будет работать в конструкторском отделе, это на другой территории, кстати, и от ненужных глаз подальше.

— Все-таки работать?

— Ну, скопирует раз в неделю чертеж и пусть себе грызет свои науки. Начальник отдела предупрежден. К тому же, он мой приятель.

У него всюду были приятели.

— Слушай, может, надо зарплату кому-нибудь отдавать?

— Не дури. Ничего отдавать не надо. Расплатишься другим.

— Чем?

— Этого я пока не знаю. Шеф сам скажет, когда надо будет.

Я встревожился. Все это напоминало повадки Дона Корлеоне, впрямь благодетельствовавшего человека, а потом годы спустя просившего его о любезности. Что ж, так и висеть мне на крючке у этого «крестного отца»? Но игра была сделана и переигрывать негоже.

И потянулась та тягостная зима. Он уходил к девяти — предупредили, чтобы не опаздывал. Брал с собой термос, пакет с едой, инсулин, учебники. В КБ ему отвели стол в углу за кульманами, так что посторонним и не видно, свои же все понимали, у многих самих были дети его возраста с теми же проблемами. И сидел он себе до пяти часов смиреннько, зажав руками уши от гремящего радио, от учрежденческой болтовни, впиваясь глазами в учебник, по которому уж разу проходя его страница за страницей.

## ИГРЫ ПАДИШАХА

Весной звонок. Жизнерадостный голос моего приборостроительного УСЖ.

— Ну что, милок, расплачиваться надо.

— Что такое?

— Понимаешь, мы готовим к производству прибор для измерения влажности хлопка. И примерно такой же прибор уже выпускает один ташкентский завод. Так вот его обосрать надо.

— А что, ваш лучше?

— А черт его знает, может, и не лучше. Такое же дерьмо, как и тот. Все здесь дерьмо.

Ему хорошо было философствовать — все здесь дерьмо.

— Да-а. Как же я вдруг ни с того ни с сего обосру какой-то там узбекский прибор?

— А это уж твои проблемы.

Наступила трагическая пауза. Но он, видимо, решил, что пора сбавить тон.



— Ну, ты уж так не переживай. Ведь не завтра от тебя этого ждут. Понимаем, что не просто. Пара недель у тебя есть. Подумай, прикинь, что тут можно сделать?

И я обхватил голову руками. Вроде бы проблемы качества хлопка мои. Я как раз занимаюсь заготовками. Но Узбекистан — вотчина собкора, и не просто собкора, а могущественного любимца Рашидова, «ученого еврея», пишущего «лично Шарафу Рашидовичу» всякие тексты и входящего в ближний круг узбекского хозяина. Высокий, плотный, длинноносый, он уже в пожилом возрасте сменил свое еврейское имя-отчество на прозрачно нейтральное — Аркадий Иосифович, оставив прежней лишь фамилию — Улевский. Приезжая в Москву, он общался с главным, с замами, до меня не снисходя. Ну, как мне ему «забить» этот чертов прибор да еще в критическом плане? Поехать в Ташкент самому? Тот же Улевский терпеть не может, когда о его феоде пишут чужаки из центра. Все там у него схвачено, и за своим режиссерским пультом он сидит прочно. Остается действовать из Москвы. Ввязаться в бой, а там — по ситуации. И я отправился в НИИ хлопчатобумажной промышленности.

Директор — старик с серебряной шевелюрой и крупными морщинами на властном лице — встретил меня с вежливым равнодушием. Газета моя была ему чужая. Он привык общаться по ведомственной принадлежности с «Социалистической индустрией». Я же ни зла, ни пользы, по его разумению, принести ему не мог. И потому он привычно излагал горести своей отрасли — сырье, конечно, скверное, да и как может быть иначе при таком росте объема производства в главной хлопкосеющей республике — Узбекистане. Рашидов что ни год о рекордных сборах рапортует, а стало быть, все меньше трудоемких тонковолокнистых сортов, все больше грубых низкокачественных.

Я вполслуха слушал эти традиционные сетования, понимая, как далеко пока нахожусь от своей цели — влагомера. Что этому текстильному НИИ до какого-то прибора, применяемого в поле, на сборных пунктах? Надо как-то обострить разговор, спровоцировать взрыв страстей, чтобы заварилась каша, в которой смешалось бы все — машины, приборы, сорта. И тогда

в этой мутной клокочущей воде «вылавливать» свой влагомер. Но как? И тут меня осенило.

— А что если мы подготовим и опубликуем письмо группы знатных текстильщиц, скажем, из Иванова с перечислением их бед и призывом к узбекским хлопкоробам улучшить качество сырья? Знаете: «Мы делаем общее дело», «рабочая гордость» и тому подобное...

Он посмотрел с недоверчивым интересом, который означал: что это ты, братец, на чужом поле играешь? Ты хоть и газета ЦК, но ведь не «Социндустрия».

Это для человека, далекого от понимания политического механизма, аппарат ЦК казался единым целым. На самом же деле моя газета подчинялась и отражала интересы сельхозотдела, а «Социндустрия» — промышленного. И за каждым отделом стояли лоббирующие отрасли со своими противоречащими друг другу интересами. Конечно, я играл не в своей команде. Но не объяснять же истинные свои мотивы. И ничего не оставалось делать, как сработать под дурачка, выдержать его вопрошающий взгляд, изобразив непонимание: у нас, мол, общий государственный интерес — качество конечной продукции, хлопок растим ради ткани.

— Что ж, — сказал директор, — хорошее предложение.

— Вы снабдите меня материалами, я подготовлю письмо, а вы уж по своим каналам организуйте подписи ивановских ткачих.

— Нет проблем.

В сочинении такого рода писем у меня был немалый опыт. До аграрной газеты я работал в городской московской, где горком партии что ни месяц требовал от нас какого-нибудь рабочего почина. Тут нужен был тон задушевный и искренний, фразы недлинные, как бы имитирующие живую речь, а главное — должен ощущаться облик рабочего человека, который ночей не спит, все радеет о пользе родного советского государства. Тут надо уметь самому в актерский образ войти по системе Станиславского.

Изобразил я этот текст, отправил с курьером в НИИ, а через неделю получил его перепечатанным на мелованной бумаге,

с красивыми росчерками ткачих и вроде бы даже чуть залапанным, как бы со следами рабочего пота.

В свою очередь и я его перепечатал (с подписями это был теперь документ и его предстояло хранить) и отправил в набор, пользуясь тем, что мой зав. отделом был в отпуске, а я исполнял его обязанности.

Наутро звонок редактора: «Зайди».

— Молодец, хорошую инициативу отдел проявил.

У самого же глаза бегают и как-то сосредоточенно устремляются вверх, к потолку, будто за лобной костью работает компьютер, просчитывает варианты решения сложной задачи.

— Вы же сами говорите, надо острее отстаивать интересы потребителя.

— Куда уж острее.

— Так, значит, в номер?

— Подожди ты с номером. Отправим по телетайпу гранку Улевскому.

— Так он же к Рашидову побежит.

— Ну и что ж? Рашидов — член Политбюро, человек государственный.

— А может, сначала напечатаем? Пусть он в газете читает и реагирует.

— Ладно. Иди.

На следующий день звонок Улевского. Тон вкрадчиво-любезный.

— Дорогой мой, какое замечательное обращение вы подготовили. И Шараф Рашидович вас благодарит. Дельная, конструктивная критика.

— Так нет возражений против публикации?

— Знаете, у Шарафа Рашидовича вот такая идея появилась. Давайте-ка мы обсудим это письмо в Ташкенте, соберем председателей колхозов, ученых, министров. Из Москвы людей пригласим. Из других хлопкосеющих республик. наших собкором соберем. Всесоюзное совещание по проблемам качества хлопка под эгидой газеты и узбекского ЦК. Шараф Рашидович уже в Москву, в ЦК звонил. Поддерживают.

Мать честная. Да, конечно же, этот узбекский хан увидел

здесь обычную интригу на высшем уровне. В момент, когда опубликованы новые обязательства республики по хлопку с очередной высокой цифрой, кто-то хочет показать, что все это туфта — качество отвратительное, из такого хлопка хорошей ткани не получишь. Классический наскок конкурентов. И, уж, наверное, просчитывал, от кого в Москве это может идти — из Совмина или ЦК, а может, из брежневского окружения? Но не им, московским интриганам, переиграть его, восточного хитреца. Врага надо бить его же оружием. Мы принимаем критику, идем навстречу ей, собираем у себя всесоюзное совещание и высказываем свои претензии к смежникам. Не письмо ткачих печатать, а отчет о совещании, на котором высказывается настоящая партийная государственная позиция. Ну, кому в голову могло прийти, что у истоков этой сложной партийно-государственной интриги — худенький мальчик, который целыми днями, зажав уши, одолевает в уединенном углу какого-то КБ школьную премудрость? Сам Господь Бог не догадался бы. А Шараф Рашидович был не Господь Бог, а простой азиатский властитель.

Летом 98-го, когда все газеты обошел портрет свергнутого Сухарто, я еще раз подивился сходству его с Рашидовым. Те же узкие щели умных глаз, те же азиатские черты лица, и просветленность его та же, даваемая невидимым сиянием безраздельной власти над душами и телами человеческими.

Интересно, стоял ли в Джакарте в кабинетах высших руководителей портрет обожаемого лидера, как стоял он в Ташкенте? Не на стене — огромный, казенный, где Ленину да Марксу положено висеть. А небольшой — на столе или в стенной нише со специальной подсветкой, эдакий интимный портрет — знак непосредственной личной связи, личного отношения.

А маховик событий крутился с ускорением. Звонки, звонки. Из Совмина, Госплана, министерств, от собкором. Кто только не ехал в Ташкент, славный своим восточным гостеприимством!

Больше всех радовался Федя Кошевой. Ему предстояло председательствовать на этом совещании. Федя был из породы

простоватых хитрованов. Многие помнили, как он после войны пришел в редакцию в старой шинели, да так и остался там на всю жизнь, дойдя до должности зам. главного. За эти годы он вошел во вкус столичной партийно-чиновной жизни с ее машинами, пайками, спецсанаториями, презентами в командировках, научился красноречиво выступать и на трибуне, и за банкетным столом. Поводы для престижных поездок как за рубеж, так и по стране он придумывал замечательно ловко, и ташкентское совещание было для него подарком судьбы.

— Ну что, поедем подымать хлопководство, — подмигнул он мне, потирая руки и шумно втягивая носом воздух, словно предчувствуя предстоящие радости — застолья, горные пейзажи, гарцевание на председательском месте — Не бойсь, все у нас будет по высшему рангу. Сам знаешь, чьи мы там гости.

И уже начиная с Внуково, где мы проходили через депутатский зал — пустой, с роскошной полированной мебелью, с кормежкой и выпивкой — откуда служительница повела нас на уже заполненный самолет, на особые передние места, и в цеховской гостинице в Ташкенте, окруженной огромным розарием, с просторными комфортными номерами, с почтительной прислугой, и в поездках по республике мы все время ощущали этот наш высший ранг. Казалось, что обычная жизнь с ее грязью, скудостью, хамством и очередями осталась где-то далеко внизу, а мы живем в заоблачном мире высоких интриг, уважительной многозначительности, кондиционированных кабинетов, домов приемов, черных автомобилей, долгих застолий.

Даже села, куда нас возили, были особыми. Земля, обработанная, как пух. Ровные строчки зеленеющего хлопка. Иригационные каналы, вода в которых шла почему-то вверх, в горы — мутный коричневый пенящийся поток. Вырубленные в сухой каменистой земле траншеи лимонария, обделанные диким камнем и крытые стеклом, под которым зеленели маленькие нежные саженцы.

Это был Папский район, объединение имени Ленина, а правильнее его было бы назвать именем Ахмаджона Адылова — создателя и хозяина объединения, любимца Рашидова.

Он худ, нервен, с простоватым крестьянским лицом. Лихо

катит за рулем «Жигулей» по горным дорогам впереди каравана черных «Волг», Привозит в парк, разбитый на склоне горы, в большую беседку — суфу, устланную коврами и полосатыми пуховиками. Надел халат, подпоясался платком, начал хозяйничать, отрывисто отдавать приказания. Засуетилась челядь — темнолицые предупредительные парни. Стол накрыт мгновенно, непонятно, откуда все это взялось, рядом не видно ни кухни, ни вообще каких-либо домов. Между тем на столе — клубника, кок-чай, сладости, шурпа, шашлыки, плов. Хозяин преломляет хлеб — разрывает руками лепешку. Ест сосредоточенно, по-азиатски — чавкает, выхлебывает из пиалы суп, берет пальцами плов.

Тосты длинные, велеречивые. Первый — за Шарафа Рашидовича. Пьем в почтительном молчании. Потом за хозяина с подробным описанием его заслуг, истории объединения, с многозначительным упоминанием о врагах, клеветниках, которых было немало, но сказала поддержка первых лиц республики. Выпили за Улевского. Он достойно и уверенно принимает славословия, поблескивая глазами, пригубливает коньяк.

Когда мы выходим с ним из суфы размяться, я пытаюсь установить некоторую доверительность, спрашиваю, как ему удалось стать первым ребе узбеков? Но он не принимает этого тона и по естественной, в сущности, филиации мыслей с привычным верноподданническим восторгом начинает говорить о Рашидове — прост, гуманен, карает в крайних случаях, знает, как обращаться с народом. И уже с невольным прорывающимся сквозь кору умиления иудейским скептицизмом рассказывает байка. Едет по республике. Обычный кортеж, впереди охрана, милицейское сопровождение. Сам в ЗИЛе с предсовмина. Вдруг остановка. Прибегает смущенный охранник: «Аксакалы стоят на коленях на дороге». Выходит, пытается поднять, не встают, лепечут: «Падишах, падишах». Приносят конфеты. Одаривает. Раздает деньги. Двигаются дальше.

И все это кончится через несколько лет. Рашидов застрелится. Улевский умрет, и смерть спасет его от преследований. Адылова посадят. Начнется смута. А потом придет новый падишах,

и новые улевские и адыловы окружают его, повесят его портреты, будут пить за его здоровье и говорить о его гуманизме, человечности и народолюбии. И все приедет на круги своя.

Эти поездки входили в программу подготовки совещания. Предполагалось, что мы таким образом знакомимся с сельским хозяйством республики. В программу включались и визиты к первым лицам. Сам Рашидов уехал в Фергану, на всякий случай как бы дистанцируясь от совещания. Нас с Кошевым приняли второй секретарь, предсовмина, зав. сельхозотделом ЦК. И если первые две встречи носили чисто протокольный характер, то последняя была уже по делу.

Сельхозотделом узбекского ЦК заведовал Тимофей Григорьевич Зинин. По привычке к аналогиям я спроецировал его на фигуру более крупную — зав. сельхозотделом союзного ЦК Владимира Андреевича Карпова. Этот человек казался несменяемым. Подведомственные ему отрасли испытывали всякие превращения, исчезали и возникали все новые политические культуры — от кукурузы до рапса, страна поднимала то Целину, то Нечерноземье, шли грозные пленумы, менялись секретари, по слухам пускал пулю в лоб Федор Кулаков, приходил еще малоопытный в общесоюзных делах Горбачев, а Карпов все сидел. Худощавый, едкий, с лицом кабинетной бледности, весь пропитанный воздухом интриг, все и всех знающий, сталкивающий и мирящий секретарей обкомов, регулирующий продовольственные потоки, он казался вечным, как вечной казалась эта власть..

Похоже, что и Зинин занимал то же место при своих узбекских владыках. Маленький, невзрачный, с утомленным лицом, вечно заваленный бумагами, он выглядел на фоне смуглых холеных секретарей ЦК русским «ученым евреем» при восточных губернаторах.

После небольшого, но обязательного в таких случаях демагогического вступления — о последних партийных решениях, о роли газеты в их выполнении, о видах на урожай — мы перешли к делу и быстренько оговорили все, о чем пойдет речь на совещании, всю его режиссуру. Собственно, говорил Зинин,

Кошевой кивал и поддакивал, иногда вставляя словцо, не всегда по делу, но с непременным подтекстом, демонстрирующим его причастность к высшему кругу.

И вот тут-то я решил сделать первый ход в игре, свое Е-2 — Е-4. Напомнил, что имеется непростая проблема, о которой нередко пишут наши читатели: машиностроители выпускают подчас неважные приборы для оценки качества хлопка-сырца, в частности, вызывает нарекания влагомер Ташкентского завода.

Зинин равнодушно кивнул: да-да, бывают, мол, неполадки в пробирной палатке. Кошевой недоуменно покосился: чего ты-то встречаешь с какой-то ерундой. Но я уже молчал, уткнувшись в блокнот, продолжая записывать ценные мысли товарища Зинина, добившись желаемого, получив возможность в случае чего сказать: «И сельхозотдел ЦК знает об этой проблеме, и там она обсуждалась, не с потолка берем...» Но то был лишь первый камень, брошенный в цель, дебют шахматной партии. Миттельшпиль предстояло разыгрывать на другом поле.

Поездка к Ахмаджону Адылову символизировала наше знакомство с достижениями сельского хозяйства республики. Однако режиссура спектакля предусматривала еще и ознакомление с хлопкоочистительной промышленностью, для чего к нам был приставлен министр Вахаб Усманович Усманов, которому предстояло показывать свои заводы и приемные пункты. Кошевому, похоже, это не улыбалось, у них с Улевским были свои дела в Ташкенте. Я же выразил полную готовность поехать с товарищем Усмановым по республике. И поехали.

Вахаб Усманович — осанистый, но не расплывшийся, еще не старый мужчина в хорошо сшитом костюме — спутником оказался идеальным. Он был предупредителен, но молчалив, в силу то ли полного равнодушия ко мне и ко всей этой рашидовской затее, где он играл роль статиста, то ли из-за плохого знания русского языка. Говорил он по-русски с таким акцентом, с такой азиатской монотонностью, что я едва понимал его.

Наша ухоженная «Волга» степной кобылицей летела по дорогам от завода к заводу. Нам наскоро показывали оборудование, коротко отчитывались в успехах и без промедления вели к столу с роскошным достарханом. Но, устав от непрерывного

застолья, я пренебрегал восточными яствами, отдавая должное разве что черной крупной черешне.

Надо было, однако, переходить к делу. Пудрить мозги министру рассуждениями об инструментальных методах проверки качества было бессмысленно. Он «большой человек» и в детали подведомственного ему производства не вникал, на то были русские и еврейские «ученые евреи». Их-то мне и надо было обнаружить. И я заставлял своего спутника перечислять руководителей технического управления и подчиненного ему института, пока он не дошел до соответствующих фамилий. Я выбрал оканчивающуюся на «ман». Она принадлежала заместителю директора института.

Разговор наш с ним по возвращении в Ташкент шел по принципу «своя своих познаша». Конечно же, Усманов предупредил его, кто я и что я. Но «ман», не проявляя никакого почтения к моим прерогативам, сразу же накинулся с расспросами — что там в московских театрах, толстых журналах, «а правду ли говорят...»

Удовлетворив, сколько мог, его любопытство, я сказал, что меня интересует качество используемых в его отрасли приборов. Очнувшись от сладкого дыма столичных сплетен, он посмотрел на меня с веселым недоумением. Этот взгляд означал примерно следующее: «„Манн“, не крути мне яйца, скажи, что тебе надо, и я помогу тебе, чем смогу». Но мне уж так вот прямо раздеваться перед ним не хотелось. Сказал, что интересует конкретный прибор — влагомер Ташкентского завода. Есть данные, что прибор неважный.

— Конечно, неважный, — закричал он и дальше слово в слово повторил пассаж моего московского УСЖ, на которого он, кстати, был похож интонациями стрекочущей речи. — Да что там неважный. Дерьмо прибор. А что здесь не дерьмо?

— Вот и подтвердите это документально как представитель ведомства-потребителя. А заодно дайте характеристики еще нескольких используемых вами приборов.

— Камуфлируете, — легко разгадал он мой замысел. — Пожалуйста, завтра справка будет готова.

Назавтра я отправился к Усманову и предложил ему под-

готовить текст его выступления на совещании. Он так раз-улыбался и так широко расставил руки, что я испугался, уж не думает ли он, что я таким образом вымогаю у него деньги, и собирается вручить вознаграждение за работу?

Чтобы развеять его сомнения, я сказал, что в своей газете представляю отдел, отвечающий в том числе и за его отрасль. Мы в некотором роде коллеги, и я заинтересован в том, чтобы его выступление было идеологически правильным и масштабным. В частности, неплохо бы отразить проблемы инструментальной оценки качества хлопка, что подчас тормозится из-за плохих свойств приборов, кое-какие данные у меня есть от его же работников. Словом, я к его, усмановским услугам. В ответ снова широкая улыбка и жест, толкуемый в старорусской интерпретации примерно так: «Исполать тебе, батюшка!»

И вот, наконец, венец всего действия — совещание. В вестибюле Министерства сельского хозяйства — плотная толпа. Советская чиновная рать с азиатским обликом — местные министры и академики, секретари обкомов, колхозные председатели с завесом орденов. Все это колышет, движется, источает улыбки и разноязыкий говор.

Бедный мой сынок, представляешь ли ты, сидя над учебниками в своем КБ, какая каша заварилась из-за твоей справки о трудовом стаже? Каждый из здесь собравшихся мог бы дать сотню таких справок, но надо было, чтобы причинно-следственная связь событий растянулась на всю страну, на тысячи километров — от твоего стола, над которым грохочет радио и женщины болтают о тряпках и очередях, до министерского дома, где скоро произнесут множество слов, обозначающих лишь то, что эти откормленные люди играют в привычные им государственные игры.

В конференц-зале самые важные начальники и организаторы совещания уселись за огромным круглым столом, остальные — на стульях у стен. Кошевой в любимой своей роли председательствующего московского знатного гостя тонко соблюдает политес, заочно благодарит Шарафа Рашидовича, в нужных пропорциях цитирует Леонида Ильича, шутит и, мгновенно сгоня с лица улыбку, печалится о наших бедах, представляя

ораторов, свободно выговаривает трудные мусульманские имена. Хорош Федя, разве что воды многовато пьет с похмелья, но зал правильно это понимает.

Постепенно черед говорения приближается к моему министру. Вот он бодро поднялся и несет свое холеное тело на трибуну, на ходу открывая папку с моим текстом. Но Бог ты мой, как он говорит — словно акын негромко и монотонно тянет свою песню.

— Ничего не понимаю, — шепнула сидящая сзади стенографистка.

— А вам и не надо ничего понимать, — обернулся я к ней. — Вот вам его текст.

Благодарно улыбнувшись, она потянулась к бутербродам. А Вахаб Усманович, спев свою песню, невозмутимо понес себя обратно.

Ни он, ни я, никто из присутствующих не мог себе даже вообразить, какой страшный конец ждет этого рослого вальяжного человека. Пустит себе пулю в лоб Шараф Рашидович, начнется андроповская чистка, приедет из Москвы прокурор Гдяян с командой следователей, и загребнут Вахаба Усмановича среди главных обвиняемых.

Брал ли он взятки, давал ли он взятки? Тут можно говорить лишь о терминах. Что, собственно, такое взятка в условиях, когда часть национального дохода отчуждается и перераспределяется среди властной элиты всех рангов? Один приписанный процент сахара в винограде, влаги в хлопке, жира в молоке давал в масштабах области или республики многие миллионы рублей. Они приходили, как сейчас говорят, черным налом — в конвертах, пачках, кейсах — и также распределялись. На эти деньги делались подарки московским чиновникам, содержались роскошные гостевые дома, покупались должности и дипломы, делались вложения, обеспечивающие будущее — строились виллы, приобретались золото и драгоценности.

Усманов — главный узбекский заготовитель хлопка — находился в центре этой системы распределения. Ему полагалась пуля.

Осталось досказать немного. В газете оставили полосу для отчета о нашем замечательном совещании. Писали мы ее в Ташкенте вместе с Улевским. Он — аграрный раздел. Я — о заготовках и переработке. И, конечно же, абзац об инструментальных методах оценки качества хлопка и о недостатках одного конкретного, отдельно взятого прибора выглядел неплохо в моем разделе.

Но мало того. Из Ташкента я позвонил в редакцию, узнать, кто из заместителей ответственного секретаря ведет этот номер. Оказалось, что человек, кое-чем мне обязанный. В разгар очередной антиалкогольной кампании я подобрал его аки труп валяющимся на улице около редакции, доставил на такси домой и сдал на руки жене. Он помнил это всю оставшуюся жизнь.

Вот почему в ответ на просьбу в случае хвоста в полосе сокращать в моем разделе все, что угодно, только не абзац о приборе, он, ни о чем не спрашивая, сказал: «Будь спокоен».

По возвращении в Москву я обвел фломастером этот абзац и отправил газету моему Дону Корлеоне. Как говорится, расчет на месте.

А несколько месяцев спустя мы читали характеристику сына, написанную нашим УСЖ не без остроумного изящества. Особенно умиляла фраза: «Принимал активное участие в разработке приборов для определения качества сельскохозяйственного сырья».

Опять же, как говорится, цинизм — лучший отдых.

Были ли у нас счастливые дни? Конечно, были. Когда он защитил диссертацию. Первое время после его женитьбы. Но особенно острое, опьяняюще счастливое чувство охватило нас после его поступления в институт.

Мы гуляли, как старатели, вышедшие из тайги, угощая всех встречных-поперечных. Мы гуляли, как в деревне играют свадьбу — несколько дней, созывая родных, знакомых, полузнакомых.

Помнится, как уже несколько дней спустя после его зачисления я случайно встретил на Арбате двух не особенно близких

приятелей, затащил их к себе в дом, поил, блаженно болтал всякую чепуху.

Семья еще была в Москве. Для брата, правда, началась эмиграция, но жил отец и вокруг него ветвились племянники, внуки, лагерные друзья, ставшие членами семьи. И моя среда еще не распалась, не растворилась в смертях и эмиграции. Где они сейчас, в каком мире, в каких странах?

## ХЛЕБ ЧУЖОЙ СВОБОДЫ

Все мы живем несколько жизней. У отца их было три. Одна — до 37-го, потом 16 лет лагерей и ссылок. И, наконец, третья — четверть века почтенным патриархом в окружении детей и внуков, друзей и учеников. Это было воздаяние, последний акт классической пьесы, где добро торжествует и примирение с действительностью произошло.

После его смерти я, воспользовавшись правом, предоставленным детям «жертв сталинских репрессий», получил в КГБ доступ к его делу, и мне даже выдали две фотографии из этих архивных папок. Одна — в момент первого ареста (его брали дважды) — красивый тридцатилетний парень с испуганными глазами. Десять лет спустя на фото — ээк, наголо стриженный, с жестким, словно подсохшим лицом, твердым взглядом, в котором страдание упрятано куда-то вглубь. На снимках последних лет жизни — старческое лицо, крупно вылепленные морщины, спокойная печаль и углубленность в себя во взгляде. Каждый раз — полный слом существования, вхождение в другую реку, преобразование и внутреннее, и внешнее.

Эта новая река потекла для меня, впрочем, как и для других, во второй половине 80-х и временной своей предел обозначила отъездом. Так что те десять лет были особой, четко выделенной хронологическими рамками жизнью с подлинностью и глубиной переживаний, трансформацией внутреннего облика, эйфорическими иллюзиями и горькими разочарованиями.

Если бы меня в начале этого пути спросили, не хочу ли я эмигрировать, благо препятствий к тому становится все мень-

ше, я бы закричал: «Нет, нет, конечно же, нет. Зачем? Ведь приходит то, о чем мы и мечтать здесь не смели. Зачем чужой хлеб свободы, когда скоро будет свой?»

Вот шаг за шагом, год за годом, толчками открывается занавес политической сцены, где ты и зритель, и актер. То, что раньше было нельзя, теперь можно — писать, кричать, кувыркаться. И это сладостное «можно» испытывают все, кто тебя окружает.

Ты впервые в жизни узнаешь чувство слияния с толпой, понимаешь, что тысячи людей думают, чувствуют так же, как ты. Первое время ты даже немного стыдишься этого сознания. Ты привык жить на особицу, открывая немногочисленных «своих» по реплике, улыбке, взгляду. Привык презирать толпу, бояться ее и быть в стороне — зрителем, холодным, рассудочным, ироничным. Теперь же ты с ней — с толпой, с массой. Ты с ней в Лужниках в 89-м, с ней перед танками в августе 91-го, ты с ней в марте 93-го на Васильевском спуске. Да и не толпа это для тебя. Толпа — это те, кто по другую сторону баррикад, с красными флагами. А ты теперь свободный человек, ты волен распоряжаться собой, строить свою жизнь, как считаешь нужным.

Вглядываясь из своего германского убежища в себя тех лет, я вижу человека, словно надевающего и сбрасывающего разные маски, которые символизируют обретение и утрату все новых и новых иллюзий.

Сначала казалось, что ничего менять в уже сложившейся жизни не надо. Я так угнездился в своей нише сельской публицистики, так проникся ощущением огромной крестьянской толпы, страсти которой я наблюдал и описывал, что подобным образом, думалось, можно жить до конца дней. Тешащая честолюбие принадлежность к писательскому цеху, необременительная служба в газете, где все свои недельные обязанности я выполнял за день, а остальное время предавался сочинению журнальных и книжных очерков в уединении уютного кабинета, вполне приличные заработки, что складывались из зарплаты и гонораров... Что еще надо?

Надвигающиеся перестроечные события я рассчитывал переживать вместе со своими героями, которые, по моему (да разве только по моему?) разумению, должны были, выходя из кол-

хозов, превращаться в фермеров, свободно кооперирующихся во всех своих производственных и сбытовых нуждах — обслуживании техники, приобретении кредитов, продаже продуктов. Все так славно расписывалось по западным образцам, так счастливо виделось в близком будущем (должна когда-нибудь и Россия стать цивилизованной страной, ну хватит уж этих семи десятилетий страданий и бед!), что грех было не участвовать в реализации подобных планов, подталкивая своим слабым плечом, а вернее, своим пером эту телегу крестьянского мира. И до того я этим всем подталкиванием увлекся, что начал и сам участвовать в событиях, не только писать, а напрямую действовать — то ходоком от имени крестьян, вырывающихся из колхоза, выступаю в областных канцеляриях, то уламливаю местную власть помочь в создании кооператива. Сам ставлю спектакль, сам и описываю действие.

Недолго продолжалась эта эйфория. Очень скоро надежды и сконструированные по западным образцам планы реформирования села стали разбиваться о чугун российской действительности, о зависть и злобу, о воровство и заскорюзлые представления о равенстве. Мало того, сами мои народнические умствования и инвективы в защиту мужика все более заслонялись на книжно-журнальном рынке плодами других игр, и когда мне в издательстве на вопрос, когда же выйдет уже подготовленная к печати очередная книжка моих сельских очерков, смущенно ответили: «Бумаги нет, вот вы бумагу бы по госценам достали, мы бы вас мгновенно издали», я понял, что это конец очередного этапа и моей жизни. Достав бумагу по госцене и продав по свободной, можно было обходиться без зарплат и гонораров, но то уже другая профессия, куда более доходная, чем писательская, и тем не менее совсем для меня непривлекательная..

Я принял предложение перейти в «Огонек». И там все разворачивалось по тому же сценарию. Лучший журнал страны, острая молодая публицистика, читательские восторги, растущий тираж — здесь жить и жить, «сквозь годы мчась». Но начинает потухать и «Огонек», более современные и жесткие издания теснят его на газетно-журнальном рынке. Одно из таких

изданий — еженедельник для деловых кругов — предлагает делать группе журналистов либеральный торговый магнат, обещающая не ограничивать в творческих порывах и демонстрируя полное понимание наших политических устремлений. В этом еженедельнике я получаю экономический раздел.

Господи помилуй, за что я только не брался, чего только не придумывал в эти предотъездные годы!

Еженедельник «Нацмен», издаваемый акционерным обществом того же еще недавно почти ругательного названия. Предполагается, что у русского в Латвии и армянина в Москве есть общие интересы, во всяком случае, они оба в одинаковой «нацменской» ситуации. И вот вам газета, отражающая эту ситуацию, эти интересы и издаваемая на деньги объединившихся в АО «нацменских» бизнесменов, газета, которая, говоря словами незабвенного Ильича, не только коллективный пропагандист, но и коллективный организатор. Не оказалось у «нацменских» бизнесменов общих интересов, не откликнулись они на мои страстные призывы профинансировать столь нужный им еженедельник. Ладно, переживем. Ну, а журнал «Нет», рассчитанный на неконформистов, которых, по подсчетам психологов-социологов, десять процентов населения, не хотите ли? А журнал «Азарт», состоящий из двух частей, одна — «Игра как жизнь», а другая — «Жизнь как игра»? Тут уж должны были раскошелиться хозяева игровой индустрии...

А еженедельник, рассчитанный исключительно на зарубежные деловые круги и дающий самые объективные данные, анализ и прогнозы применительно ко всем финансовым рынкам России? А журнал «Инвестиции в России», который со временем становится консалтинговым (почему, черт побери, не говорят консалтинговым, консалтинговым оно как-то заграничнее!) центром? А журнал «Очаг», семейный, добрый, интеллигентный, чтоб вся семья эдак у камелька вслух читала, забыв об ужасах дикого российского капитализма?

Постепенно я так наловчился писать концепции новых изданий (я их называл — слезницы), что примерно раз в месяц раздавался звонок: «Старик, есть замечательная идея!» Я выслушивал идею и ворчливым скучным голосом задавал вопрос,



которым кончилась одна история моего детства... Лет так примерно в четырнадцать мы шли с моим другом, томимые подростковым сексуальным голодом, мимо кинотеатра «Метрополь». Мы молчали, говорить было не о чем, проблема состояла только в одном: как прервать нашу затянувшуюся, как нам тогда казалось, девственность. И тогда мой друг сказал: «Давай возьмем проститутку». Он сказал это небрежно, как будто мы каждый день брали проститутку, а вот сегодня почему-то забыли. «Ты с ума сошел!» — испуганно воскликнул я. А он уже, напрягшись, набычившись, как Матросов на амбразуру, идет в направлении пышной лет тридцати барышни, у которой из-под приоткрытого пыльника видна полуобнаженная грудь. Я не слышу, что он говорит ей, потому что он стоит ко мне спиной, но слышу, что она отвечает. Отвечает она лениво, протяжно, с легкой укоризной: «Сынок, а деньги-то у тебя есть?»

И вот я с такой же легкой укоризной спрашиваю: «Сынок, а деньги-то у тебя есть?»

Кое-какие из этих идей угасали на стадии проектирования, некоторые доходили до пробного номера, порой начиналась раскрутка, мы выходили на рынок...

Однажды я спросил у своего брата, много лет прожившего в американских капиталистических «джунглях»: «Почему так низок КПД моих идей?» — «А что ты хочешь? Так всегда и бывает. Из десяти проектов получается один, он-то тебя и кормит».

Оно так и выходило. Пара реализованных проектов меня кормили.

Все было бы ничего, если бы не дела сына, а вернее, отсутствие таковых. В самом дурном сне о грядущей демократии мне не могло присниться, что одним из последствий ее прихода станет конец отечественной фундаментальной науки. Так хорошо задуманная схема его жизни — кандидатская, старший научный, работа над докторской, приличный заработок, общественный престиж: — рухнула, едва начав прорисовываться. Опустевшие лаборатории, ветшающее оборудование, ни химикатов, ни заказов, зарплата меньше старушечьей пенсии... В институт приходят попить чаю, грустно посидеть

среди осколков старой компании, обмениваться новостями: кто-то торгует тряпками на ВДНХ, кто-то получил приглашение из Франции. Уезжали все, кто мог, пусть на скучную «негритянскую» работу, пусть на ничтожную по европейским или американским меркам зарплату, кто на время, кто навсегда.

Получалось, что интересы шестидесятилетнего человека вошли в противоречие с интересами тридцатилетнего. Надо было выбирать.

И вот в шесть часов ледяного ноябрьского утра с грудой чемоданов мы стоим на перроне ганноверского вокзала. Люди обтекают нас, спеша на ранние пригородные поезда, — утренняя невыспавшаяся Европа.

Жена и сын уходят искать такси, а я остаюсь сторожить чемоданы. Стою, прикрыв глаза, впитывая запахи и голоса вокзального мира — сигаретный дым, сладкую вонь дезодоранта, кашель, шарканье ног, обрывки слов. И вдруг в эту мешанину звуков сначала чуть слышно, а потом явственнее пробивается старый российский вальсок. Снится мне, что ли? Но нет, потом идет «Катюша», потом еще что-то забытое из репертуара шестидесятых.

Лет сорок назад мой друг, ныне уже покойный, опубликовал в «Юности» рассказ «Музыка на вокзале». Парень уезжает в Среднюю Азию, обретая тем самым свою мечту, а его девушка и друг остаются в Москве и мечту свою не обретают. Действие происходит на вокзале, там громко звучит музыка и заглушает последние слова отъезжающего мечтателя. Рассказ был навеян нашими непрерывными отъездами, провожаниями, письмами, романами. Музыка тогда звучала сверху, из репродукторов, громко и настойчиво. Здесь она робко пробивается через вокзальный шум откуда-то из подземного перехода, и, сделав несколько шагов к его устью, я вижу щуплого парня в распахнутой куртке, раздвигающего меха аккордеона. На полу валяется шапка со скудной горстью мелочи. Вот она, музыка моей старости...

## СОН ПОД ЗАНАВЕС

Совершенно сюжетный, наполненный символикой сон. Ощущение большой семьи — жена, сын, старики, тетки. Какой-то житейский спор в комнате, почему-то не вызывающий у меня раздражения, а даже скорее понимание и умиление.

Выхожу в коридор. Собачка — любимая, маленькая, коричневая. Вдруг ее охватывает дрожь. Дрожь все сильнее, вибрация, в которой расплываются ее контуры. Я пугаюсь. Кричу своим в комнату. Нет ответа. Осторожно обхожу исходящую жуткой дрожью собачку. Вхожу в комнату. Никого. Еще запахи, будто тени близких, но... никого. Я кричу. И ответом мне будто удаляющийся звук лопнувшей фортепьянной струны и далекий, исчезающий, уходящий ввысь отзвук слова: «М-милы-ый». И пронзающая мысль, как непереносимо одинок я в этом мире.